

Автор и герой в повести “Детство Тёмы”

Л. Н. САВИНА,
кандидат филологических наук

В автобиографической повести “Детство Тёмы” Н.Г. Гарин-Михайловский ведет повествование от третьего лица, как бы дистанцируясь от своего героя и показывая его со стороны. “Было бы ошибочным видеть в Карташёве alter ego самого писателя и тем более делать Карташёва носителем взглядов и умонастроений Гарина на том лишь основании, что материал, положенный в основу тетралогии, в известной мере автобиографичен. Писатель стремился не воспроизвести в художественной форме свою личную биографию, а через частное передать то общее, что характерно не только для судьбы целого поколения, но и для становления ребенка вообще” (Борисова В.А. Н.Г. Гарин-Михайловский. Вступ. статья // Гарин-Михайловский Н.Г. Собр. соч.: В 5 т. Т. 1. М., 1957. С. 21).

Гарин-Михайловский стремится проникнуть в тайны внутреннего “я” своего героя. Вытаскивая собаку из заброшенного колодца, мальчик теряет силы, “страх охватывает его. Он растерянно останавливается, не зная, что делать: кричать, плакать, звать маму? Чувства одиночества, бессилия, сознания гибели закрадываются в его душу” (Цит. по: Гарин-Михайловский Н.Г. Собр. соч.: В 5 т. М., 1957. С. 93–94; да-

лее – только стр.). Авторский комментарий фиксирует внимание на переживаниях ребенка и как бы подготавливает монолог мальчика, при помощи которого Тёма пытается подбодрить себя: “Не надо бояться, не надо бояться! – говорит он дрожащим от ужаса голосом. – Стыдно бояться! Труссы только бояться! Кто делает дурное – боится, а я дурного не делаю, я Жучку вытаскиваю, меня и мама, и папа за это похвалят. Папа на войне был, там страшно, а здесь разве страшно? Здесь ни капельки не страшно. Вот отдохну и полезу дальше, потом опять отдохну и опять полезу, так и вылезу, потом и Жучку вытащу. Жучка рада будет, все будут удивляться, как я её вытащил” (С. 94).

Мальчик говорит это себе в минуту смертельной опасности: в любой момент он может свалиться в глубь колодца. Ужас, охвативший душу ребенка, подчеркивается метонимическим изображением “блестящего вонючего дна, равнодушно ждущего свою обессилевшую жертву”. Кризисный характер ситуации отражается на стилистике монолога, относящегося к разряду иррациональных. Однако это вовсе не означает, что речь мальчика лишена логического смысла. При всей внешней “скачкообразности” медитативное заклинание “не надо бояться” подкрепляется системой прямых доказательств. Во-первых, бояться только трусы, а все поведение Тёмы свидетельствует о том, что он не трус; во-вторых, бояться стыдно, тем более ему, сыну боевого генерала; в-третьих, следует бояться тем, кто совершает дурное, он же спасает живую тварь, за это могут только похвалить.

Разумеется, попытка ребенка вытащить Жучку из колодца продиктована не только чувством жалости к доброй и умной собаке, за этим эпизодом “просматривается” стремление Тёмы реабилитировать себя. После жестокого наказания в душе героя повести особенно обострилось сочувствие к существу, столь же глубоко страдающему, как и он, появилось желание своим благородным поступком перечеркнуть то впечатление, которое произвело на окружающих его неблагоприятное поведение. Постепенно в сознании Тёмы крепнет чувство правоты по отношению к совершаемым действиям, что отражается в авторском жестовом комментарии: если первые слова ребенок произносит “дрожащим от ужаса голосом”, то потом “голос его крепнет, звучит энергичнее, тверже”, в конце концов, он улыбается, вспоминая, как смешно кричал сам на себя (курсив мой. – Л.С.).

Однако после этого поступка из-за невероятного напряжения нервной системы мальчик заболевает. Тёма мечется в жару с ледяным компрессом на голове, связь предметов теряется в его сознании. Мысли спутаны: “Отчего мама плачет? Отчего ему тоже хочется плакать? Что говорит ему мама? Отчего так вдруг хорошо ему стало? Но зачем же уходит от него мама, зачем уходит все и оставляют его одного? Отчего так темно сделалось? Как страшно вдруг стало! Что это лезет из-

под кровати?! Это папа... милый папа!! Ах, нет, нет,... это не папа, это что-то страшное лезет. Иди, иди, иди себе! – с диким страхом кричит Тёма, ...и крик его переходит в какой-то низкий, полный ужаса и тоски рев” (С. 95).

На грани бреда иррационально прорывается то, что мальчик пытался скрыть даже от самого себя, не находя объяснения разрозненным впечатлениям, но что является понятным автору. Страх одиночества и разрыва связи с родными и близкими людьми – самое страшное наказание для Тёмы. Пережив раскаяние и получив прощение матери, он инстинктивно боится повторения прошлого, которое всплывает в его больном сознании. Тёма испытывает противоречивые чувства к отцу, подчеркнутые при помощи оксюморона: “милый” папа ассоциируется у мальчика с чем-то страшным. Кстати, Карташёв-старший воспринимается читателями подчас только как тиран, истязавший своего сына, но в произведении Гарина есть страницы, посвященные трогательной любви отца и сына, особенно обострившейся накануне смерти старого генерала.

Внутренний монолог занимает у Гарина-Михайловского не так уж много места, это связано, прежде всего, с особенностями авторского способа изображения персонажей повести. Поскольку мир Тёмы – это мир эмоций, движений “сердца”, имеющих непосредственное внешнее выражение в виде самих действий, писатель стремится показать, как динамика развития внутреннего “я” героя находит выражение в его поступках.

Логические и иррациональные монологи в повести произносятся, как правило, различные лица. Если эмоциональные натуры (Тёма, его мать) так же эмоциональны в своей речи, то представитель казенной системы воспитания – директор гимназии – логичен и точен в выражении своей точки зрения. Он говорит “сухо и сдержанно”, на горячие признания Аглаиды Васильевны, возмущенной тем, что ее любимого сына в первый же день выгнали из гимназии, директор отвечает сугубо рациональной филиппикой: “Каждая мать воспитывает своих детей, как ей кажется лучше, считает, конечно, свою систему идеальной и решительно забывает только об одном: о дальнейшем, общественном уже воспитании своего ребенка, совершенно забывает о том руководителе, на обязанности которого лежит сплотить всю эту разрозненную массу в нечто такое, с чем, говоря о практической стороне дела, должно было бы совладать” (С. 124). В речи директора, излагающего свое педагогическое кредо, полностью отсутствуют чувства, поэтому неслучайно мать Тёмы “взрывается” неожиданным вопросом, обращенным к этому двойнику чеховского Беликова: “У вашей жены есть дети?”. И на положительный ответ озадаченного директора дрожащим от боли и возмущения голосом просит передать

его супруге и детям пожелание никогда не испытать того, что испытала сегодня она и ее сын.

Аглаиду Васильевну и сына связывает нежная дружба. У жены генерала Карташёва есть своя “метода” воспитания: мать уважает личность ребенка, она пытается повлиять на его воображение, подбирая нужные слова, чтобы воспламенить сердце мальчика. Как никто другой, она умело воздействует на Тёму, формирует его душу. После экзекуции сына женщина не может найти места, она обвиняет себя в том, что допустила наказание мальчика в столь жестокой форме. Горячий пыл Аглаиды Васильевны находит воплощение в ее монологе: “Мысли роем носятся в ее голове. Пусть Тёма так и лежит, пусть придет в себя, надо его совершенно предоставить себе... Белье бы переменить... Ах, боже мой, боже мой, какая страшная ошибка, как могла она допустить это! Какая гнусная гадость! Точно ребенок сознательный негодяй! Как не понять, что если он делает глупости, шалости, то делает только потому, что не видит дурной стороны этой шалости. Указать ему эту дурную сторону, не с своей, конечно, точки зрения взрослого человека, с его детской, не себя убедить, а его убедить, задеть самолюбие, опять-таки его детское самолюбие, его слабую сторону, суметь добиться этого – вот задача правильного воспитания” (С. 78).

Монолог героини повести, начинающийся иррационально, постепенно приобретает логическую стройность. Последняя, логическая его часть, в равной степени может принадлежать как Аглаиде Васильевне, так и самому автору, разделяющему педагогические и нравственные позиции матери Тёмы.

Гарин-Михайловский не всегда отделяет при помощи знаков препинания или графического членения текста внутреннюю речь героев от авторского повествования. Писатель часто использует прием несобственно-прямой речи, постепенно переходящей в монолог героя. Такой прием сближает сферы сознания автора и персонажа, с которым писатель солидаризуется. Достаточно вспомнить начало повести, построенное по схеме: авторское повествование – несобственно-прямая речь – внутренний монолог Тёмы.

Мир маленького Карташёва, а, следовательно, и его речевая сфера открыты для принятия “чужого слова”. В качестве воспитательного эксперимента родители разрешили сыну играть на наемном дворе. Это запретное пространство издавна привлекало мальчика, там шла совершенно иная жизнь, а главное достояние этого мира заключалось в свободе от правил и приличий хорошего тона, культивирующихся в барском доме. Внимание Тёмы привлекают страшные рассказы Гераськи, атамана ребяческой ватаги, о покойниках, зарытых без отпевания, о старой Пульчихе, покончившей жизнь самоубийством. Ге-

раська не жалеет красок: “Рожа страшная, си-и-и-няя, вздутая, зубами ляскает, а глазищи так и ворочаются, так и ворочаются... Она и сейчас каждую ночь шляется, сволочь, и пока ей в брюхо не забудут осиновый кол, она так и будет лазить” (С. 100).

Страшные былички с их грубым просторечием и яркой экспрессивной окраской кажутся мальчику неотъемлемой чертой того нового мира, который для него так притягателен. Тёма хотел бы показать неповторимую прелесть этого мира своим близким, чтобы убедить их в привлекательности наемного двора.

Рассказ Гераськи является для ребенка самым сильным и незабываемым впечатлением от наемного двора, образы которого “толпятся” перед воображением мальчика, сидящего дома за вечерним чаем. Тёма оживляется лишь тогда, когда до его слуха долетает жалоба арендатора на то, что номер Пульчихи по-прежнему свободен. Пытаясь объяснить причину, почему лачуга старухи никогда не будет занята, мальчик стремится подражать Гераське. рассказ ребенка “вбирает” чужой тон речи, он с наслаждением “смакует” слова, столь непривычные уху членов его семьи, сидящих за столом: “– Как кто наймет, она, подлая, полезет к окну, морда си-и-няя, зубами ляскает, сама вздутая, подлая... А вот если ей в брюхо кол осиновый загнать, она, сволочь, перестанет ходить” (С. 101).

Мать, потрясенная услышанным, приходит к выводу, что этот рассказ свидетельствует об испорченности ребенка. На следующий день Тёму не пускают на наемный двор и весь день посвящают “чистке” мальчика от нравственного сора.

Родители не всегда способны понять впечатлительную душу сына, они видят и слышат лишь то, что находится на ее поверхности. Ни восторг Тёмы от посещения наемного двора, ни его желание стать частью этого нового мира, по мере сил переняв речь его обитателей, непонятны взрослым. Автор иронизирует над стремлением матери оградить своего сына от тлетворного влияния новых приятелей: “тщательное следствие никакого, впрочем, особенного сора не обнаруживает”. Поиск подходов к душе Тёмы уподобляется уголовному расследованию, “тщательному следствию”.

Мальчик пытается осваивать новые роли. Он собирается стать учеником и, хвастаясь перед друзьями с наемного двора своей причастностью неведомому им миру, “поет” с чужого голоса, рассказывая о порядках в гимназии. “Если кто шалит, а придет учитель и спросит, кто шалил, а другой скажет, – тот ябеда. Как только учитель уйдет, его сейчас поведут в переднюю, накроют шинелями и бьют” (С. 112). Это впечатление станет для Тёмы знаковым атрибутом гимназии: недаром он вспомнит о нем, впервые появившись в классе. Перед учеником, напутствуя сына, генерал Карташёв, говоря о товариществе, так-

же упомянет о том, как в его время преследовали ябед – накрывали шинелями и били.

Однако реальная жизнь окажется гораздо прозаичнее и тем самым страшнее этого кодекса чести. Предательство, столь презируемое Тёмой, по горькой иронии судьбы станет применимо и к нему самому. Кульминационным моментом повести Гарина-Михайловского является девятая глава, названная “Ябеда”. Вахнов, один из учеников класса, где занимался Тёма, решил отомстить учителю французского языка и всунул иголку в стул, предназначенный для злосчастного педагога. Поделившись своим изобретением с Тёмой и его другом Ивановым, Вахнов требует молчания. На лицах мальчиков отражается вся гамма чувств: Гарин предпочитает развернутому авторскому повествованию скупое воспроизведение реплик детей и их реакции на происходящее. Внутренний монолог здесь явно неуместен в силу стремительно развивающегося действия. Вначале следует жестовый комментарий: на лицах Иванова и Тёмы Вахнов видит ужас вместо ожидаемого одобрения. Иванов с достоинством обещает молчать, но не потому, что они с Тёмой боятся, а потому, что к этому обязывают правила товарищества. Однако Иванов все-таки дает свою оценку действиям Вахнова, называя их гнусной гадостью. Карташёв только взглядом отвечает на так отчетливо выраженные другим его собственные мысли. Появление директора вызывает у Тёмы панический страх. Он выдает себя криком:

– “Это не я! – прижатый к скамейке, в диком ужасе закричал Тёма.

– Кто?! – мог только прохрипеть директор, схватив его за руку.

– Я не знаю! – ответил высоким визгом Тёма” (С. 160).

Фразеологизм “схватить за руку” в значении “раскрыть тайну, уличить, поймать” здесь сопрягается с прямым жестом директора по отношению к мальчику. Сцена продолжает разворачиваться в невербальном аспекте, мы наблюдаем лишь действия-жесты директора, который, “рванув Тёму за руку, одним движением выдернул его в проход и потащил за собой”. Мальчик, переживший эмоциональное потрясение, тупо воспринимает окружающую действительность. Перемещение из класса в страшный мир директорской сопровождается разорванным восприятием пространства: Тёма безучастно наблюдает ряды вешалок, шинелей, грязную калошу, валявшуюся посреди коридора. Слух мальчика поражает “зловеще щелкнувший замок запиравшейся на ключ двери”. Пространство директорского кабинета замкнуто, оно напоминает старый колодец, в котором выла обезумевшая от страха и одиночества Жучка. Теперь в этом мире страдает Тёма. Но никто не придет на помощь.

Гарин-Михайловский вовсе не склонен оправдывать предательство своего героя, но всеми доступными средствами старается просле-

дить и объяснить его истоки. Автор предельно детализирует повествование, описывая каждый жест, каждое слово участников этого эпизода, более того – показывая процесс предательства с поражающим проникновением в глубину подсознания мальчика. Значимым элементом повествования является своеобразный “диалог глаз” разгневанного директора и его маленькой жертвы: “Впившиеся черные горящие глаза ни на мгновение не отпускали от себя широко раскрытых глаз Тёмы. Точно что-то, помимо воли, раздвигало ему глазища и входило через них властно и сильно, с мучительной болью вглубь, в Тёму, туда... куда-то далеко, в ту глубину, которую только холодом прикосновения чего-то чужого впервые ощущал в себе онемевший мальчик. ...Ошеломленный, удрученный, Тёма почувствовал, как он точно погружался куда-то... И вот, как жалобный посвист в бурю, рядом с диким воем зазвучали в его ушах и посыпались его бессвязные, слабеющие слова о пощаде, слова мольбы, просьбы и опять мольбы о пощаде и еще ужасные, страшные слова, бессознательно слетавшие с помертвевших губ... ах! более страшные, чем кладбище, чем розги отца, чем сам директор, чем все, что бы то ни было на свете. Что смрад колодца?! Там, открыв рот, он больше не чувствовал его. ...От смрада души, охватившего Тёму, он бешено рванулся...

– Нет! Нет! Не хочу! – с безумным воплем бесконечной тоски бросился Тёма к вырвавшему у него признание директору.

– Молчать! – со спокойным, холодным презрением проговорил удовлетворенный директор” (С. 161).

Гарин не оформляет признание мальчика как прямую речь, потому что, в сущности, оно ничего не откроет читателю, знающему истинного виновника происшедшего; гораздо важнее проследить, как меняется внутреннее самочувствие маленького героя, как нарастает в душе Тёмы страх, сменяющийся отчаянием и презрением к самому себе. Умолчание, являющееся одной из значимых форм невербального речевого поведения, подчас воздействует на воображение читателя гораздо сильнее, чем пространные монологи героев.

Испытание, которое оказалось не по силам Тёме, с честью выдерживает его друг Иванов. “Я не могу, я не могу... – *доносился как будто с какой-то бесконечной высоты до слуха Тёмы быстрый, дрожащий голос* Иванова. – Делайте со мной, что хотите, я приму на себя всю вину, но я не могу выдать...

Наступило гробовое молчание.

– Вы исключаетесь из гимназии, – *проговорил холодно и спокойно* директор. – Можете отправляться домой. Лица с таким направлением не могут быть терпимы.

– Что же делать? – *ответил раздраженно* Иванов, – выгоняйте, но вы все-таки не заставите меня сделать подлость.

– Вон!!

Тёма уже ничего не чувствовал. Всё как-то онемело в нем (С. 162)
(курсив мой. – Л.С.).

Обратим внимание, как меняется тон разговора: вначале Иванов испуган, он спешит скорее обозначить свою позицию (“я не могу выдать”), чтобы покончить раз и навсегда с этим мучительным испытанием. Во время “гробового молчания” стороны здраво оценивают свои позиции. Директор понимает, что в случае с Ивановым крик – не лучшее средство воздействия. Мальчик же приходит в себя, страх в его душе сменяется раздражением, в котором слышится отчаяние от невозможности что-то изменить: ребенок бессилен объяснить чиновнику от образования, что помимо юридических законов существуют еще кодекс чести и правила товарищества. Последний “воплъ” директора – признание его поражения в этом нравственном поединке.

По сравнению с журнальным вариантом, писатель сократил в сцене допроса Тёмы натуралистические подробности, риторические фразы, растянутые описания переживаний ребенка. В окончательный текст он не включил и нравственную сентенцию, подводящую итог моральному истязанию маленького человека: “Человек, растлевающий тело взрослого, называется преступником и ссылается на каторгу. Человек, растлевающий душу ребенка, ...душу, которая прежде чем уйдет в тот неведомый мир, где мы наконец ее признаем и воздадим ей божеские почести... Живую, страдающую здесь с нами душу...”. Этот вывод вытекает из сути самого эпизода, и поэтому автор, видимо, счел комментарий излишним.

Символично, что в наиболее тяжелые для Карташёва-гимназиста и Карташёва-студента мгновения Тёма будет мысленно возвращаться к истории с Жучкой: став взрослым, он будет соотносить свой жизненный багаж со временем детства, когда все его любили и когда он готов был любить весь мир.

Наблюдения над речью автора и его героев в автобиографической повести Н.Г. Гарина-Михайловского “Детство Тёмы” помогают постичь сущность характеров персонажей, проследить за процессом становления их внутреннего мира, а также способствуют проникновению в идейно-художественный мир произведения.

Волгоград





“Говорить и думать в тоне героев...”

Е. А. ПОПОВА,

кандидат филологических наук

Поздние произведения Чехова (“Воры”, “Попрыгуны”, “Душечка”, “Скрипка Ротшильда”, “В овраге”, “Студент” и др.) показали возможности нового типа повествования, который занял лидирующее положение в литературе XX века. Сущность его писатель объяснил А.С. Суворину, отвечая на критику рассказа “Воры”: “Вы браните меня за объективность, называя ее равнодушием к добру и злу, отсутствием идеалов и идей и проч. Вы хотите, чтобы я, изображая конокрадов, говорил бы: кража лошадей есть зло. Но ведь это и без меня давно уже известно. {...} Конечно, было бы приятно сочетать искусство с проповедью, но для меня лично это чрезвычайно трудно и почти невозможно по условиям техники. Ведь чтобы изобразить конокрадов в 700 строках, я все время должен *говорить и думать в их тоне и чувствовать в их духе* (выделено нами. – Е.П.), иначе, если я подбавлю субъективности, образы расплывутся и рассказ не будет так компактен, как надлежит быть всем коротеньким рассказам. Когда я пишу, я вполне рассчитываю на читателя, полагая, что недостающие в рассказе субъективные элементы он подбавит сам” (Чехов А.П. Собр. соч.: В 12 т. М., 1960–1964. Т. 11. С. 411–412; далее – только том и стр.).

Чеховский читатель свободен от “указующего перста” (выражение Ф.М. Достоевского) автора, авторской проповеди, из-за которой сам писатель не принимал некоторых произведений Л. Толстого, свободен от субъективности, которая, как писал Чехов в письме к брату Александру, есть “ужасная вещь”, так как “выдает бедного автора с руками и ногами” (11, 14).

В чеховской манере нет ни открыто выраженной авторской позиции, ни всезнающего повествователя, хотя следы такового можно обнаружить. Например, события, о которых рассказывается в повести “Степь”, представлены, главным образом, как воспринимаемые Его-рушкой “здесь и сейчас”, т.е. относящиеся к сюжетному настоящему или свершившиеся в прошлом, но оживающие в настоящем. Сведения

о мальчишке ограничены тем прошлым, какое помнит девятилетний ребенок.

Однако повествователь, обладая эпическим всезнанием, иногда приоткрывает завесу над будущим своего персонажа. Например, после рассказанных стариком Пантелеем страшных историй, в которых обязательно фигурировали “длинные ножики” и чувствовался вымысел, повествователь замечает: “Теперь Егорушка все принимал за чистую монету и верил каждому слову, впоследствии же ему казалось странным, что человек, изъездивший на своем веку всю Россию, видевший и знавший многое, человек, у которого сгорели жена и дети, обещенивал свою богатую жизнь до того, что всякий раз, сидя у костра, или молчал, или же говорил о том, чего не было” (6, 80). Противопоставление “теперь – впоследствии” является знаком повествователя, находящегося над персонажами и поэтому знающего о них всё.

Многие чеховские герои испытывают тоску по прошлому, которое в их воспоминаниях становится прекрасным. Подводчики, с которыми дядя оставил Егорушку, считают себя счастливыми в прошлом и несчастными в настоящем: “Пока ели, шел общий разговор. Из этого разговора Егорушка понял, что у всех его новых знакомых, несмотря на разницу лет и характеров, было одно общее, делавшее их похожими друг на друга: все они были люди с прекрасным прошлым и с очень нехорошим настоящим; о своем прошлом они, все до одного, говорили с восторгом, к настоящему же относились почти с презрением.

Русский человек любит вспоминать, но не любит жить; Егорушка еще не знал этого, и, прежде чем каша была съедена, он уже глубоко верил, что вокруг котла сидят люди, оскорбленные и обиженные судьбой. Пантелей рассказывал, что в былое время, когда еще не было железных дорог, он ходил с обозами в Москву и в Нижний, зарабатывал так много, что некуда было девать денег. А какие в то время были купцы, какая рыба, как все было дешево! Теперь же дороги стали короче, купцы скуpee, народ беднее, хлеб дороже, все измельчало и сузилось до крайности. Емельян говорил, что прежде он служил в Луганском заводе в певчих, имел замечательный голос и отлично читал ноты, теперь же он обратился в мужика и кормится милостями брата, который посылает его со своими лошадьми и берет себе за это половину заработка. Вася когда-то служил на спичечной фабрике; Кирюха жил в кучерах у хороших людей и на весь округ считался лучшим троечником. Дымов, сын зажиточного мужика, жил в свое удовольствие, гулял и не знал горя, но едва минуло двадцать лет, как строгий, крутой отец, желая приучить его к делу и боясь, чтобы он дома не избаловался, стал посылать его в извоз, как бобыля, работника. Один Степка молчал, но и по его безусому лицу видно было, что прежде жилось ему гораздо лучше, чем теперь” (6, 70–71).

В сюжетное настоящее (*теперь*) вторгается прошлая жизнь героев (*прежде, когда-то, в былое время*), которая им самим представляется прекрасной. Повествователь в “Степи” еще не полностью скрыт за персонажами, он заявляет о себе, когда, выступая от собственного имени, не смешивает свою субъектно-речевую сферу с точкой зрения персонажей. Высказывание *Русский человек любит вспоминать, но не любит жить* принадлежит автору-повествователю, который обладает эпическим всезнанием. Это маркируется следующим образом: *Егорушка еще не знал этого* (что русский человек любит вспоминать, а не жить). Еще не знал... А в будущем узнает. Прошлое и будущее соединяются на глазах читателей. Повествователь, выступая в качестве субъекта наблюдения и субъекта речи видит прошлое и будущее героев с временной дистанции.

Но в целом такой тип повествователя не характерен для произведений Чехова. Ведущее положение в речевой структуре его поздних повестей и рассказов занимает фигура говорящего в третьем лице, появление которой означает, что рассказ о событиях ведется “в духе” героя, но “тоном” (голосом) незаметного повествователя, находящегося не над героями, а незримо рядом с ними. Иными словами, персонаж выполняет функцию субъекта сознания, повествователь – субъекта речи.

Так, начало “Скрипки Ротшильда” поражает своей неожиданностью, потому что сразу вводит читателя в поток сознания героя, имя которого будет названо чуть позже: “Городок был маленький, хуже деревни, и жили в нем почти одни только старики, которые умирали так редко, что даже досадно. В больницу же и в тюремный замок гробов требовалось очень мало. Одним словом, дела были скверные. Если бы Яков Иванов был гробовщиком в губернском городе, то, наверное, он имел бы собственный дом и звали бы его Яковом Матвеевичем; здесь же в городишке звали его просто Яковом, уличное прозвище у него было почему-то – Бронза, а жил он бедно, как простой мужик, в небольшой старой избе, где была одна только комната, и в этой комнате помещались он, Марфа, печь, двухспальная кровать, гробы, верстак и все хозяйство” (7, 364).

Формально говорит повествователь, так как слова персонажа не заключены в кавычки, не маркированы ксенопоказателями (от греч. *xenos* – чужой) типа частиц *де, дескать, мол, якобы*. Но говорит он “тоном” героя, передает его слова, даже не столько слова, сколько мысли. Именно от гробовщика исходят оценки: городка (*хуже деревни*), редких смертей его жителей (*умирали так редко, что даже досадно*), собственных дел (*скверные*). Яков не понимает смысла своего прозвища (это передает неопределенное наречие *почему-то*), ему же принадлежит предположение, которое передается вводным словом

наверное, что в губернском городе у него был бы собственный дом и другое имя. Таким образом, происходит объединение “текстов” повествователя и персонажа, и основным структурно-речевым средством его реализации является несобственно-прямая речь. Если один человек говорит за другого, то он берет на себя коммуникативную ответственность за того, чьи слова, мысли, чувства он передает. В этом отношении показательно начало “Попрыгуньи”: “На свадьбе у Ольги Ивановны были все ее друзья и добрые знакомые.

– Посмотрите на него: не правда ли, в нем что-то есть? – говорила она своим друзьям, кивая на мужа и как бы желая объяснить, почему это она вышла за простого, очень обыкновенного и ничем не замечательного человека.

Ее муж, Осип Степаныч Дымов, был врачом и имел чин титулярного советника. Служил он в двух больницах: в одной сверхштатным ординатором, а в другой – прозектором. Ежедневно от девяти часов утра до полудня он принимал больных и занимался у себя в палате, а после полудня ехал на конке в другую больницу, где вскрывал умерших больных. Частная практика его была ничтожна, рублей на пятьсот в год. Вот и все. Что еще можно про него сказать? А между тем Ольга Ивановна и ее друзья и добрые знакомые были не совсем обыкновенные люди. Каждый из них был чем-нибудь замечателен и немножко известен, имел уже имя и считался знаменитостью или же хотя и не был еще знаменит, но зато подавал блестящие надежды. Артист из драматического театра, большой, давно признанный талант, изящный, умный и скромный человек и отличный тещ, учивший Ольгу Ивановну читать; певец из оперы, добродушный толстяк, со вздохом уверявший Ольгу Ивановну, что она губит себя: если бы она не ленилась и взяла себя в руки, то из нее вышла бы замечательная певица; затем несколько художников и во главе их жанрист, анималист и пейзажист Рябовский, очень красивый белокурый молодой человек, лет двадцати пяти, имевший успех на выставках и продавший свою последнюю картину за пятьсот рублей, (...) затем виолончелист, у которого инструмент плакал и который откровенно сознавался, что из всех знакомых ему женщин умеет аккомпанировать одна только Ольга Ивановна (...). Еще кто? Ну, еще Василий Васильич, барин, помещик, дилетант-иллюстратор и виньетист, сильно чувствовавший старый русский стиль, былинку и эпос (...). Среди этой артистической, свободной и избалованной судьбою компании, правда деликатной и скромной, но вспоминавшей о существовании каких-то докторов только во время болезни и для которой имя Дымов звучало так же безразлично, как Сидоров или Тарасов, – среди этой компании Дымов казался чужим, лишним и маленьким, хотя был высок ростом и широк в плечах. Казалось, что на нем чужой фрак и у него приказчицкая бо-

родка. Впрочем, если бы он был писателем или художником, то сказали бы, что своей бородкой он напоминает Зола” (7, 51–52).

Приведенный отрывок характеризует субъектно-речевую сферу героини, для которой Дымов – обыкновенный, простой, ничем не замечательный человек, а она и ее знакомые, напротив, замечательные, необыкновенные, знаменитые люди. По ходу повествования мы убеждаемся в обратном. Понимает и видевшая постоянно великих людей во сне Ольга Ивановна, что ее муж был необыкновенный, редкий и, в сравнении с теми, кого она знала, великий человек. Но это открытие Ольга Ивановна сделала слишком поздно: Дымов умер. В слитном повествовании, т.е. в таком, в котором за счет несобственно-прямой речи происходит объединение “текстов” повествователя и персонажа, поэтому “зоны” внутритекстовых субъектов не отграничены одна от другой, а сложно переплетены, степень ответственности повествователя за героев большая, но все же не абсолютная. Отчуждение “я” (повествователя) от “другого” (персонажа) передается с помощью слов, формирующих субъективно-модальную и синтаксическую структуру текста с точки зрения персонажа (*впрочем, правда, а между тем, кажется, кажется, что...*); слов и словосочетаний со значением оценки – отрицательной оценки: *простой, очень обыкновенный, ничем не замечательный* (человек), *ничтожная* (практика), *врач, какие-то доктора* (неопределенное местоимение усиливает пренебрежение), *чужой, лишний, маленький, приказчицкая бородка* и др.; положительной оценки: *не совсем обыкновенные* (люди), *знаменитость, блестящие надежды, большой, давно признанный талант, изящный, умный, скромный* (человек), *отличный* (чтец), *замечательная певица, деликатная, скромная* (компания), *художник, певец, артист, виолончелист* и др.; разговорных синтаксических конструкций (*Вот и все. Что еще можно про него сказать?; Еще кто?*); разговорной частицы *ну*. Семантика этих элементов отсылает к персонажу, который назван в 3-м лице (*Ольга Ивановна, она*). Здесь повествователь, используя речевые формы, характерные для персонажа, говорит и думает в его “тоне”.

Иное дело “чувствовать в духе героя”. В этом случае главным становится воспроизведение чувств, восприятий, ощущений героя, а не характерных для него субъектно-речевых форм, которые в речи повествователя или отсутствуют совсем, или сведены до минимума. То, что герой только переживал, но не перевел в план речи, хотя бы внутренней, передается повествователем в форме собственной речи. Например, в последней части “Убийства” автор совмещает свою точку зрения с точкой зрения персонажа, сливает свой голос с сознанием Якова Терехова: “Дрожа от осеннего холода и морской сырости, кутаясь в свой короткий рваный полушубок, Яков Иванович пристально,

не мигая, смотрел в ту сторону, где была родина. С тех пор, как он пожил в одной тюрьме вместе с людьми, пригнанными сюда с разных концов, – с русскими, хохлами, татарами, грузинами, китайцами, чухной, цыганами, евреями, и с тех пор, как прислушался к их разговорам, нагляделся на их страдания, он опять стал возноситься к Богу, и ему казалось, что он, наконец, узнал настоящую веру, ту самую, которой так жаждал и так долго искал и не находил весь его род, начиная с бабки Авдотьи. Все уже он знал и понимал, где Бог и как должно ему служить, но было непонятно только одно, почему жребий людей так различен, почему эта простая вера, которую другие получают от Бога даром вместе с жизнью, досталась ему так дорого, что от всех этих ужасов и страданий, которые, очевидно, будут без перерыва продолжаться до самой его смерти, у него трясутся, как у пьяницы, руки и ноги? Он вглядывался напряженно в потемки, и ему казалось, что сквозь тысячи верст этой тьмы он видит родину, видит родную губернию, свой уезд, *Прогонную* (курсив автора. – Е.П.), видит темноту, дикость, бессердечие и тупое, суровое, скотское равнодушие людей, которых он там покинул; зрение его туманилось от слез, но он все смотрел вдаль, где еле-еле светились бледные огни парохода, и сердце щемило от тоски по родине, и хотелось жить, вернуться домой, рассказать там про свою новую веру и спасти от погибели хотя бы одного человека и прожить без страданий хотя бы один день” (8, 59).

Особенности речи Якова не сохраняются (может быть, только разговорное слово *погибель* принадлежит герою), так как передается не речь, а мысли и чувства. В связи с этим границы между сознаниями повествователя и персонажа провести невозможно. Соединенными оказываются и оценки обоих субъектов, например, вера, обретенная Яковым, – *настоящая*, равнодушие людей – *тупое, суровое, скотское* – эти оценки не принадлежат одному Якову Ивановичу.

Из широко применяемого Чеховым типа повествования вышла литература XX века, в текстах которой лидирующее положение принадлежит несобственно-прямой речи. Чеховская манера письма, расширившая возможности художественного мышления, не отменила других. Однако чудо литературы, по словам французской писательницы С. де Бовуар, заключается в том, что “чужая истина становится моей собственной, не переставая от этого быть чужой”, т.е. диалог повествователя (как заместителя автора) с читателем во многом зависит от умения писателя создавать художественный гибрид, в котором авторская речь органично взаимодействует с чужой.

Липецк



Глаза в литературе XX века

М. Н. МИХАЙЛОВ,
кандидат филологических наук,
Н. В. МИХАЙЛОВА

Часто говорят, что глаза – зеркало души. А какое оно, это зеркало? Какими могут быть человеческие глаза? *Голубыми, карими, черными, зелеными, проницательными, невидящими, страстными...* Когда-то “Литературная газета” предложила своим читателям дополнить начатый небезызвестным Безенчуком список синонимов к слову *уметь*. Читатели с готовностью откликнулись, и список получился довольно внушительный. Но как быть с другими не менее интересными словами? Уж и такого количества читателей не найти... Остается одно – призвать на помощь технику.

В последнее время большое распространение получили так называемые корпуса текстов, то есть собрания разного рода текстов в электронной форме с возможностями составления частотных списков слов, поиска примеров и т.п. Они-то и позволяют достаточно быстро собирать языковой материал. В нашем распоряжении имеется корпус текстов русской и советской художественной прозы XX века. В его составе произведения самых разных авторов: М. Булгакова и А. Толстого, М. Шолохова и Ю. Бондарева, А. Грина и В. Аксенова, всего около 170 текстов 75 авторов. Объем корпуса – 6,5 млн. словоупотреблений. Этот внушительный по охвату материал и послужил основой для исследования на тему “Какими могут быть глаза?”

Словосочетания типа “прилагательное + глаза” встретились в исследуемых текстах около 3200 раз. (К приводимым данным следует относиться осторожно: в расчет принимались только прилагательные, ближайшие соседи существительного *глаза* (то есть из словосо-

четания *большие синие глаза* отражено лишь прилагательное *синий*). Кроме того, поскольку в состав нашего корпуса входят целые тексты, неизбежен “перекос” в сторону Шолохова, Пастернака, Солженицына и других авторов длинных романов. Таким образом, представленные данные указывают лишь на тенденции в употреблении тех или иных определений в языке русских и советских писателей XX века.) Определений в списке почти 800, из них 70 были употреблены более 10 раз. А случаев единичного использования того или иного определения почти 400.

Самыми частотными сочетаниями оказались *голубые глаза* (что вполне прогнозируемо) и *закрытые глаза* (что совершенно неожиданно). Они встретились по 108 раз. Следом идут глаза *черные* (104), *серые* (64), *открытые* (57), *карие* (45), *синие* (44), *темные* (42), *блестящие* (39), *круглые* (38), *прищуренные* (37), *светлые* (33), *выпученные* (31), *горящие* (31), *большие* (30), *красные* (30), *зеленые* (29), *желтые* (25) и *живые* (24).

Доминируют определения, характеризующие цвет глаз. Согласно списку, литературный герой XX века чаще всего голубоглаз или черноок: 104 употребления против 108 – разрыв несущественный. Следующее по частоте употребления определение *серый* обнаружено только в 64 случаях.

Такова или примерно такова существенная деталь в среднестатистическом “портрете нации”. Но в художественном произведении притягательно не обыденное, а выходящее за рамки нормы. Быть может, именно поэтому в наших северных широтах внимание писателей привлекают глаза *черные*, хотя в реальной жизни они редкость. Скорее уже встретишь *карие* глаза, но таковые зафиксированы в нашем корпусе лишь 45 раз, их частота даже ниже, чем у *серых* глаз.

Индивидуальность творческой манеры писателей выражается и в оригинальности эпитетов и определений. Воистину неистощима человеческая фантазия! Оказывается, глаза могут быть *камышовые* (“Посидел, поговорил о войне и хуторских новостях, пощурил на Дарью зеленые, камышовые глаза и собрался уходить” – М. Шолохов. “Тихий Дон”), *морские* (“Была томная, черноволосая красавица с синими морскими глазами, мисс Норкот...” – В. Набоков. “Другие берега”), *степные* (Федор Иванович прямо, как судья, посмотрел в его выпцветшие степные глаза” – В. Дудинцев. “Белые одежды”) и даже *тухлые*, причем такое весьма неожиданное определение глаз встретилось дважды, у разных писателей: у Ю. Германа (“...пустые, тухлые глаза некой фигуры, к которой он иногда являлся за новостями” – “Я отвечаю за все” и у братьев Вайнеров в “Эре милосердия” (“... у него лицо было совершенно чугунное, серое, ноздреватое, с тухлыми белыми глазами...”).

Больше всего нестандартных определений к слову *глаза* (13) находим у М. Шолохова в романе “Тихий Дон”. Помимо *камышовых* писатель использует не менее экзотичные *капустные*, *клеякие*, *пыхлые* и даже *сумчатые* (“Емельян Константинович выходил, щуря щелки капустных глаз...”; “Казак с зелеными клейкими глазами <...> выбил из состояния дурного полузабытья...”; “...полковник <...> с заплаканными, пыхими, сумчатыми глазами...”). Почти столь же богаты “находками” произведения В. Набокова (12 определений). Глаза его персонажей могут быть *призрачными*, *глазированными*, *горилловыми* (“... лицо Цинцинната, со скользящими, непостоянного оттенка, слегка как бы призрачными, глазами...”; “Своими светлыми, глазированными глазами он вежливо глядел на Цинцинната...” – “Приглашение на казнь”; “Черный в белую горошинку платок <...> скрывал от моих постаревших горилловых глаз <...> полуразвитую грудь...” – “Лолита”), а у набоковской Лолиты они *сумеречные* (“... сияющая, размякшая, ласкающая меня взглядом нежных, таинственных, порочных, равнодушных, сумеречных глаз...”).

А теперь подробнее о частотности использования определений к слову *глаза* в различных семантических группах. Свыше 30 различных определений содержат такие группы, как: “яркость” (33), “болезненность” (40), “материал” (43), “цвет” (45), “состояние” (54), “форма” (68), “характер” (69). Самая представительная группа – “глаза как отражение настроения человека” – 133 определения. Это *грустные* и *смеющиеся* (по 14 употреблений), *усталые* (9) и *счастливые* (14), *плачущие* (5) и *восхищенные* (5), *любящие* (3) и *страдающие* (2), *улыбчивые* и *слушающие*, *пьяноватые* и *потрезвелые*, *осерженные* и *осатанелые*, *дурашливые* и *траурные* (по 1). Например: “... веселые, светлые, чуть пьяноватые глаза молодого полковника...” – Ю. Герман. “Я отвечаю за все”; “...вскрикивал Аникушка, обводя цепь дурашливыми глазами...” – М. Шолохов. “Тихий Дон”; “Какие траурные глаза у него, – я начинал по своей болезненной привычке фантазировать” – М. Булгаков. “Театральный роман”. Но чаще всего глаза литературных героев *испуганные* (22) и *печальные* (23). Именно эти два не самых радостных чувства отражаются в русских глазах. Хотя интересно, что следом парами идут глаза *грустные* и *смеющиеся*, одновременно с ними *заплаканные* и *веселые*, встречаясь по 14 и 13 раз соответственно. Вообще же соотношение настроения “хорошего” и “плохого”, отражающегося во взгляде персонажа, примерно 1 к 3 “в пользу” *страдающих*, *яростных* и *напуганных* глаз. Связано ли это было с нашим реальным мироощущением в беспокойном XX веке? Наверное, да... И это довольно грустно.

Примерно одинаковы по объему группы “национальность” и “человек” – немногим более 20 в каждой. Привлекают внимание глаза

калмыцкие, правда, из шести зафиксированных примеров пять – из романа М. Шолохова “Тихий Дон”. Поэтому вряд ли можно делать выводы о “национальном предпочтении”. Точно так же *киргизские* глаза встретились 3 раза, но только в романе Б. Пастернака “Доктор Живаго”, *татарские* – 3 раза у двух авторов, *цыганские*, *нерусские* и *монгольские* – по 2 раза у двух разных писателей. То есть, если бы в корпусе текстов не было романа Пастернака, то не было бы и *киргизских глаз*. Всего же обнаружено 23 определения, связанных с национальностью. 17 из них – это единичные авторские употребления, от *русских* и *нерусских* и до совсем необычных *окитайченных* (“... поцеловать твои окитайченные глаза...” – В. Набоков. “Лолита”) и *новгородских* (“... странноватый татарский разрез голубых новгородских глаз...” – В. Аксенов. “Остров Крым”). Большая часть определений (*азербайджанские*, *армянские*, *ирландские*, *германские*, *польские*) лишь косвенно указывают на национальность персонажа (“Светлые польские глаза Адама Казимировича заблестели от слез”. – И. Ильф, Е. Петров. “Золотой теленок”). Меньшая часть имеет скорее эстетическое наполнение, чем информативное. Эти определения связаны со стереотипными представлениями о людях других национальностей. Трудно представить, что рядом с булгаковской Маргаритой – монголы (“И раскосые монгольские глаза, и лица белые и черные сделались безразличными...” – М. Булгаков. “Мастер и Маргарита”), что у Сперанского были предки-китайцы (“Он заговорил, круглые китайские глаза были полузакрыты” – Ю. Тынянов. “Пушкин”), у авторов “Золотого теленка” действует вдова-персиянка (“И на могиле не будет сидеть прекрасная вдова с персидскими глазами” – И. Ильф, Е. Петров. “Золотой теленок”), а веселая корова у этих же авторов привезена из Испании (“Симпатичная корова, глядевшая с чертежа одним темным испанским глазом, была искусно разделена на части”).

В группе “человек” 20 различных определений, из них 12 единичных. Всего же 60 употреблений, причем в 18 случаях используется самое общее определение *человеческие* глаза, гораздо реже глаза могут быть *детские* (8). *Девичьи* глаза или *женские* встречаются чаще, чем *мужские* или *мужичьи* (6 против 3), *материнские* чуть чаще, чем *отцовские* (5 против 3). Но упоминание женских глаз отнюдь не гарантия, что речь идет о женщине (“Поручик с красивейшими женскими глазами...” М. Шолохов. “Тихий Дон”). Так же, как *отцовские* (“Семеня ножонками, подошел к ней сынишка. Крепко прижавшись к матери, поднял на нее отцовские глаза” – В. Ян. “Батый”) или *материнские* (“...сын выбежал, кусая губы, оглянулся в дверях – в серых его, материнских глазах дрожали непролитые слезы” – Ю. Бондарев. “Горячий снег”) не всегда определяют семейный статус, а могут, как в приведенных примерах, указывать на фамильное сходство. А вообще-

то все они просто *земные*, особенно когда мы, земляне, отправляемся куда-нибудь за пределы Солнечной системы (“... в живительных лучах зеленого, приятного для наших земных глаз солнца...” – И. Ефремов. “Туманность Андромеды”).

Род занятий человека тоже накладывает отпечаток на весь его облик, в том числе и на глаза. Иначе чем объяснить появление таких определений, как *пастушеские* или *генеральские*. А вот *бандитские*, *воровские*, *разбойничьи*, *охотничий глаз* имеют явную оценочную окраску (“Охотничий глаз великого комбинатора быстро распознал чесучового гражданина” – И. Ильф, Е. Петров. “Двенадцать стульев”). Порой люди вовсе меняют свою сущность. И глаза тогда у них становятся *ведьминские*, *колдовские*, *дьявольские*, а то и вовсе *вурдалачьи* (“...вурдалачий глаз положила она на меня и смотрела не мигая мне в рот” – Братья Вайнеры. “Эра милосердия”).

Пожалуй, одна из самых богатых на определения – группа с оценочными характеристиками. Здесь из 28 характеристик 23 встречаются только раз, а остальные 5 – примерно по 2 раза. Глаза могут быть *сильными* столь же часто, как и *беспомощными*: найдены оба определения по 2 раза (“И сильные глаза Бобынина сверкнули открытой ненавистью” – А. Солженицын. “В круге первом”). А также *хорошими* и *плохими*, *привычными* и *незабвенными*, *неправдоподобными* и *многоопытными*, *милыми*, но и *омерзительными*, да и просто *мерзкими* (“...примадонна (...) выкатив огромные неправдоподобные глаза, валилась навзничь на подмостки” – В. Набоков. “Машенька”; “У Зины мгновенно стали такие же мерзкие глаза, как у тяпнутого” – М. Булгаков. “Собачье сердце”). Более изысканным является ряд с отрицательной оценкой. Кроме уже упомянутых, это еще и *дурные*, *дрянные* и вовсе *проклятые*!

Но все-таки они не такие уж и плохие, “эти глаза напротив”. Во всяком случае, группа “интеллект” достаточно представительна: 27 определений, 113 словоупотреблений, из них 13 – единичные. В большинстве случаев глаза просто *живые* (24), а *умные* выявлены почти в равной мере с *безумными* (14 и 13). В целом же сила интеллекта в глазах отражается чаще, чем глупость. Лишь 9 определений говорят о *непонимающих*, *бессмысленных* и просто *бестолковых* глазах. Подавляющее большинство персонажей – с глазами *емкими*, *вдумчивыми*, *всезнающими* и *всепонимающими* (“Руська своими зоркими емкими глазами изучил не только крупную голову майора...” – А. Солженицын. “В круге первом”). В мире литературы даже у собаки могут быть *сообщительные* глаза (А. Грин. “Алые паруса”).

А уж характер литературного персонажа по глазам определить – задача нетрудная. Если человек злой, то и глаза у него *злые*, если добрый, *добрые* и глаза. Таких определений в исследуемых текстах ока-

залось 69. *Злыми* глаза героев нашей литературы бывают чаще, чем *добрыми* (18 против 14). Но в целом, и приятное, и неприятное в этой группе распределяется довольно равномерно. С одной стороны – такие “положительные” прилагательные, как *строгие, ласковые, невинные, нежные, доверчивые, мечтательные*, с другой – *бешеные, жадные, бесстыжие, недобрые, злобные, угрюмые* и т.п.

Напротив, группа “возраст” особым разнообразием не отличается: *старые* (5), *старческие* (1) и *молодые* (7) или просто *невзрослые* (1). Например: “...глядя своими круглыми, коричневыми, все еще невзрослыми глазами...” – Ю. Герман. “Я отвечаю за все”.

Как и у большинства наших современников, у литературных героев нередко бывают проблемы с глазами. *Воспаленные, близорукие, невидящие, слезящиеся* – первые в данном (35 слов) списке определений “болезненности” глаз. *Умирающие и безжизненные, мёртвые и обезумевшие, осумасшедшие* и с *сумасшедшинкой* – это достаточно полно характеризует не столько здоровье персонажей, сколько опять-таки их самоощущения в мире бушующих страстей (“Кругом я видел те же горячечные глаза и слушал тот же бред” – И. Эренбург. “Необычайные похождения Хулио Хуренито”).

Очень заметное место в нашем материале занимают различные метафорические модели, суть которых – в “исследовании” физических свойств человеческих глаз.

13 различных определений, встретившихся 35 раз, можно объединить в группу “влажность”. Отметим, что глаза в большинстве своем *сухие* (13), а не *влажные* (10). Но они могут быть *увлажненными* или *увлажнившимися* (11), *водянистыми* (7) или просто *мокрыми* (4). Например: “Белесый с водянистыми глазами связист, отдуваясь, снимает через голову аппарат” – В. Некрасов. “В окопах Сталинграда”.

Примерно столько же определений (14 вариантов, 37 употреблений) дается глазам по темпераменту героя. Наиболее притягательны *холодные* (10) или *ледяные* (4), в сумме эти прилагательные употребляются чаще, чем *теплые, горячие* и *пылающие*. Хотя в целом, с учётом единичных *раскаленных* и *разгорающихся*, авторы с небольшим перевесом отдают предпочтение *глазам пламенным*, нежели *замороженным* (“Он опять подумал, уставившись на меня замороженными глазами, и сказал...” – Ф. Искандер. “Стоянка человека”; “У Багратиона были тяжелые, пламенные глаза воина” – Ю. Тынянов. “Пушкин”).

Различной может быть и степень “прозрачности” глаз (18 различных определений). При этом *ясные глаза* у литературных персонажей столь же редки, как и *мутные* – по 19 словоупотреблений. Гораздо большим разнообразием отличаются описания глаз *помутневших, помутнившихся, мутноватых* или *затуманенных* – всего 15 различных синонимов подобного вида. В дополнение к *ясным* идут только

чистые (7) и с некоторым допущением *призрачные* (“Яков Менеласович вспомнил: эти чистые глаза, этот уверенный взгляд он видел в Таганской тюрьме в 1922 году...” – И. Ильф, Е. Петров. “Двенадцать стульев”). Такое же соотношение и среди прилагательных, содержащих эстетические оценки глаз. Из 19 различных определений просто *красивые* и просто *страшные* встречаются одинаково по 13 раз. Зато остальные 17 представляют собой различные вариации “красивого” так: от *глаз обычных, обыкновенных и похорошевших* до *прекрасных* (6), *загадочных* (5) и *выразительных* (5). Например: “... тридцатилетняя женщина с красивым лицом, тяжеловатым взглядом больших, выразительных глаз...” – Ф. Искандер. “Стоянка человека”.

Глаза – не самая “подвижная” часть человеческого лица. И литературные персонажи, похоже, смотрят друг на друга по преимуществу *немигающими, неподвижными* (20 и 14) глазами. Вместе с *остановившимися* (10), эти три определения из семантической группы “движение” составляют больше половины словоупотреблений. Хотя в целом движение представлено намного разнообразнее, нежели статика – 22 разных определений для глаз движущихся: *быстрые, стремительные, пронзительные* и только 7 для их антонимов: *недвижные, остановившиеся и замерзшие*. *Бегающие* глаза (9) также становятся более привычными, нежели глаза *замерзшие* (1). Наиболее оригинальным из группы “движение” выглядит прилагательное *рыскающий* (“...пришел худощавый мужчина средних лет, с острым желтым лицом и быстрыми рыскающими глазами” – Ю. Домбровский. “Факультет ненужных вещей”).

Весьма слабо представлена семантическая группа – “вкус”. Здесь всего три определения, каждое из которых встречается лишь по разу: *соленые, сладкие и горькие* (“Матрос, соленые глаза, дай сигару” – А. Толстой. “Гиперболоид инженера Гарина”; “И Брузжак наставил свои сладкие глаза, не скрывая торжества” – В. Дудинцев “Белые одежды”; “Но сама она не ложится и сидит у лампы с книгой, смотрит горькими глазами на спящего” – М. Булгаков. “Мастер и Маргарита”). Два определения входят в группу “вес” (*тяжелые* – 4 и *тяжкие* – 1). Например: “Алоизий Рвацкий, атлетически сложенный человек с тяжкими глазами...” – М. Булгаков. “Театральный роман”.

Уже говорилось, что самыми частотными определениями к слову *глаза* выступают цветообозначения типа *голубой, черный, серый* и т.п. Всего же в нашем корпусе зафиксировано 45 цветообозначений для глаз. Наряду с “традиционными” цветами встречаются и не совсем обычные. Например, неожиданно распространенными оказались *белые глаза* (10 употреблений) (“...красномордый блондин с белыми глазами...” И. Ильф, Е. Петров. “Золотой теленок”; “...одиноким узник с горячечными белыми глазами...” – А. Солженицын. “В круге

первом”). Вопреки всем утверждениям стилистов, глаза могут быть и *коричневыми* (6 употреблений), причем это определение зафиксировано у разных авторов (“И словно потеплело в углах строгих коричневых глаз” – М. Шолохов. “Тихий Дон”; “Он был очень забавный, <...> с горячими коричневыми глазами” – В. Аксенов. “Апельсины из Марокко”). Глаза могут быть даже *рыжими* (6 употреблений). Например: “...Калин переводил взгляд своих маленьких рыжих глаз с одного лица на другое...” – В. Войнович. “Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина”. Ну а самое неожиданное среди цветообозначений – это, наверное, *пестрые глаза* (“...вибрирующий рев моторов мгновенно вытеснил из Жоркиного сознания остаток воспоминаний об убитом пареньке с пестрыми глазами” – Ю. Бондарев. “Батальоны просят огня”).

Авторы явно отдают предпочтение глазам *горящим* или *блестящим* – 31 и 39 употреблений соответственно. Могут быть глаза и *огненные* (10), в следующей группе идут уже четыре определения, причем на 8 *тусклых* глаз 24 *лучистых*, *сверкающих*, *сияющих*. Такое же примерно соотношение и по всей группе: “свет” явно побеждает “тьму” (3 к 1). И в пару к гриновской собаке с *сообщительными* глазами появился кот, который “глянул на меня флюоресцирующими глазами” (А. и Б. Стругацкие. “Понедельник начинается в субботу”).

Большинство из определений группы “форма” указывают на необычность во внешности героя, вызванную не столько его физическими особенностями, сколько особенностью его внутреннего состояния (“Под капюшонами блестели испуганно вытаращенные глаза и ощеренные зубы” – А. и Б. Стругацкие. “Попытка к бегству”). Интересно, что *большими* глаза предстают гораздо чаще, чем *маленькими* (30 против 13, случайностью такое расхождение объяснить трудно). А вообще-то *большие* глаза всего лишь на третьем месте по частотности. Скорее они бывают *круглыми* (38) и *выпученными* (31). Описывая глаза с точки зрения их формы, писатели предпочитают уродливые и непривлекательные (*выпученные*, *вытаращенные*, *косые*, *запавшие*, *провалившиеся*, *выкаченные*, *скошеннные*, *вылупленные* и т.п.), нежели привлекательные (*огромные*, *глубокие*, *миндалевидные*). В этой семантической группе – главным образом случаи единичного употребления определений. Причем среди однократно встретившихся есть и вполне обычные, типа *асимметричные* (“Представь себе взрослую брюнетку, <...> с очаровательно асимметричными глазами...” – В. Набоков. “Лолита”), и уже достаточно клишированное *миндалевидные* (“...мысленно шептал Богаевский, не спуская с Алексея влажных миндалевидных глаз” – М. Шолохов. “Тихий Дон”), и авторские определения типа *мохнатые*, *зрачкастые* (“Иногда он останавливался, <...> смотрел на нас мохматыми глазами и ры-

чал...” – В. Аксенов. “Апельсины из Марокко”; “... было много в нем от звериной этой породы: (...) в манере глядеть исподлобья зелеными зрачками глазами...” – М. Шолохов. “Тихий Дон”).

Близка к группе “форма” группа прилагательных со значением физического состояния. Уже отмечалось, что глаза, как ни странно, чаще бывают *закрытыми*, чем *открытыми*. Так вот: во всей этой группе ощущается перекося в сторону “закрытости”. В числе частотных прилагательных этой группы – *закрытые* (108), *прищуренные* (37), *полузакрытые* (14), *зажмуренные* (10), *прижмуренные* (5), *сощуренные* (5), *закрывшиеся* (2). Более того, глаза могут быть еще и *неподнятыми* (“Неподнятыми глазами вижу все время тех двух...” – Е. Замятин. “Мы”). Группа антонимов представлена гораздо слабее: *открытые* (57), *раскрытые* (14), *незакрытые* (2).

Нередко писатели ищут для глаз своих героев сравнения из окружающего мира. Мир растений представлен семью различными метафорами. Самыми частыми являются определения *ореховые* (4) и *васильковые* (3). А из необычных – уже упоминавшиеся *капустные* и *медоносные* (“Твои медоносные глаза мне все рассказали...” – Ф. Искандер. “Сандро из Чегема”). Интересно, что, казалось бы, вполне литературное *миндальные* встретилось только раз (“...у них тонкие руки и миндальные глаза” – Ю. Домбровский. “Факультет ненужных вещей”).

Но вообще-то в поисках выразительности писатели любят обращаться не к флоре, а к фауне. С животным миром связано 27 различных определений (87 употреблений). Самые любимые животные, судя по всему, – кошка и волк, соответственно, и глаза *кошачьи* (9) или *волчьи* (11). Из птиц предпочтенье отдается *ястребиным* (10) глазам перед *совиными* (5). Персонажи с глазами домашних животных – *коровыми*, *бычьими*, *волчьими*, *конскими*, *собачьими* – обычно не слишком привлекательны (“...она мне надоела со своими коровьими глазами” – Ф. Искандер. “Стоянка человека”). При такого рода переносе значения важную роль играют ассоциации, связанные с данным животным. Так, копытные обычно ассоциируются с низким интеллектом и безобидностью. Сравнение же человеческих глаз с глазами хищников – *волчьи*, *тигриные* – предполагает силу, жестокость и неуправляемость. Наиболее экзотичными предстают глаза *форелевые* и *змеючие* (“...ясно представляю себе выражение совершенного удовлетворения и облегчения (...) в его светлых форелевых глазах...” – В. Набоков. “Другие берега”; “... огромная колючая уродина с зелеными змеючими глазами” – Ю. Домбровский. “Факультет ненужных вещей”).

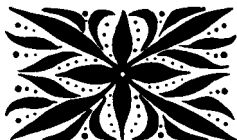
Один из излюбленных приемов в художественной литературе – сравнивать глаза с каким-либо материалом: с металлом, драгоценным

камнем, тканью и т.п. Самой распространенной субстанцией оказалось, как и следовало ожидать, стекло. Оборот *стеклянные глаза* встретился 11 раз (“Профессор сорвал одним взмахом галстук (...) и, шатаясь, с совершенно тупыми стеклянными глазами, ринулся куда-то вон” – М. Булгаков. “Роковые яйца”). Другое распространенное сравнение – *оловянные глаза* (6 употреблений). Например: “Хрипушин повернул к нему свое страшное лицо и посмотрел на него оловянными глазами” – Ю. Домбровский. “Факультет ненужных вещей”. Хотя самоцветы и прекрасны, глаза, похожие на них, не обязательно должны быть красивыми (“Он шел мерным солдатским шагом, глядя только вперед себя твердыми алмазными глазами и опираясь на высокую клюку с загнутым концом, как библейский первосвященник” – И. Ильф, Е. Петров. “Двенадцать стульев”; “...воровка помоложе, с бирюзовыми глазками и капризным, вздернутым носиком” – Ю. Герман. “Я отвечаю за все”).

Итак, в общих чертах были показаны сочетаемостные потенции для слова *глаза*. Невероятное разнообразие метафор превзошло все ожидания. Писатели будто соревнуются: кто придумает более неожиданную. А ведь эта статья подготовлена лишь на материале прозы XX века, за порогом исследования остался XIX век – Пушкин, Лермонтов, Толстой, Чехов, а также вся русская поэзия.

Обидно, что такое богатство таится в недрах литературных произведений, оставаясь неведомым не только для рядовых носителей языка, но и для самих писателей. В толковых словарях русского языка отражаются наиболее стандартные сочетаемостные возможности слова, да и то обычно в качестве примеров. Словари сочетаемости приводят лишь наиболее устоявшиеся и стандартные определения. А ведь словари, которые бы содержали, кроме общеизвестных, “затертых” сочетаний, хотя бы еще толику богатств нашей литературы, были бы чрезвычайно полезны...

Тампере
Финляндия



“Окно, горящее в ночи”

О поэтическом языке Ю.Д. Левитанского

А. Н. ЯВОРСКАЯ

Ю.Д. Левитанский много размышлял о своем поэтическом даровании, о чем свидетельствуют такие его стихотворения, как “Тревожное отступление”, “Второе тревожное отступление”, “Сколько нужных слов я не сказал”, “Все сущее мечено временем”, “Когда в душе разлад”, “Освобождаюсь от рифмы”, “Кровать и стол, и ничего не надо больше”, “Музыка моя, слова” и др.

В стихотворении “В том городе, где спят давно” Левитанский, опираясь на образность Пастернака и Цветаевой, создает выразительный символ духовного бодрствования:

Кромешный мрак и свет живой –
Свет лампы или свет свечи –
поэзия, вот образ твой –
окно, горящее в ночи.

В стихотворении “Попытка оправдания” поэт спрашивает себя: “И все-таки что же мне делать с моим ремеслом, / с моею бедой, с бессонною мукой моей!” (Здесь и далее цит. по: Левитанский Ю. Когда-нибудь после меня. М., 1998). Он пытается постичь процесс зарождения стиха, природу творчества. Свое “ремесло” поэт называет “проклятым”, но добавляет: “Я сам отвечаю за грешную душу стиха”. Левитанский не становится на котурны, не говорит о своей избранности, о божественной природе стихотворства. Наоборот, он полон тревожных сомнений: нужна ли его поэзия. В стихотворении “Второе тревожное отступление” он словно полемизирует со своим внутренним “я”:

И разве тебе не казалось порой,
что ты занимаешься детской игрой,
в бирюльки играешь во время чумы,
во время пожара?

Что все эти рифмы – безделица, вздор,
бубенчики на шутовском колпаке,
мальчишки, бегущие с криками вдоль
рядов похоронных?

Но поэт убеждает себя: “Ты должен пройти этот круг / сомнений,
неверья, опущенных рук...”

В стихотворении “Тревожное отступление” Ю. Левитанский описывает самое тяжелое для творческого человека состояние: “Я выдохся. Кончился. Всё. Ни строки”. Но эта опустошенность оказывается временной. Возвращение вдохновения поэт сравнивает с весенним прилетом журавлей, началом ледохода:

внезапно я звук различаю живой,
шуршанье и клекот,
как будто бы птичья
гортань прочищается. Тронулся лед! {...}
Но это,
возникнув бог весть из чего,
моих журавлей предвещало прилет.

Но сам процесс творчества – это непрерывный труд. И Левитанский создает настоящую оду своему любимому письменному столу, разворачивая целую панораму метафор и оксюморонов в стихотворении “Кровать и стол, и ничего не надо больше”:

Мой старый стол, моя невольничья галера,
Мой горький рай, моя сладчайшая Голгофа!

С чем только не сравнивает поэт свой стол! И с распаханным полем, и с полем битвы, и с землей обетованной, и с островом, и даже олицетворяет его: “мой старый стол, мой добрый друг четвероногий, / мой верный конь, мой Росинант неутомимый”.

Поэта преследуют не только страх исписаться, но и сожаление о недооволенном, так и оставшемся в набросках, черновиках. У Левитанского есть стихотворение “Сколько нужных слов я не сказал”, посвященное именно этой теме, насыщенное выразительными метафорами: “прохожу по кладбищу стихов”, “ставлю запоздалую свечу возле недописанной строки”, “Кланяюсь повинной головой / праху Известного стиха”.

В поисках новых форм, не желая, чтобы о нем говорили, как он сам пишет в стихотворении: “Кто-то так уже писал”, Левитанский обращается к свободному, нерифмованному стиху:

надоевшие рифмы,
как острые рифы,
минуя,
на волнах одного только ритма
плавно качаюсь.

Но никуда не уйти от вечных рифм “березы” – “слезы”, – так заканчивается стихотворение “Освобождаюсь от рифмы”. Глубинные закономерности рифм в языке не случайны, – к такому выводу приходит Левитанский: “Всё сущее мечено временем, / а вот замечается вновь, / что время рифмуется с бременем, / с любовью соседствует кровь”.

Тема поэта и поэзии у Левитанского насыщена яркой образностью. Он может олицетворить не только свой письменный стол, но такое, казалось бы, сугубо теоретическое понятие, как ямб:

там ямб медноголосый,
как бог светловолосый,
рокошет в облаках.

В стихотворении “Музыка моя, слова” Левитанский обнаруживает любовь даже к грамматическим категориям русской речи:

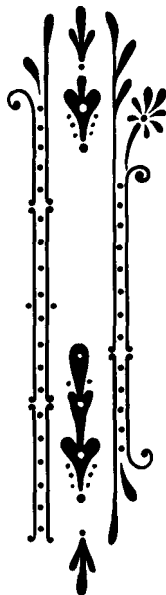
Музыка моя, слова,
их склоненье, их спряженье,
их внезапное сближенье,
тайный код, обнаруженье
их единства и родства ...

Поэт наслаждается богатством словоформ, неисчерпаемыми возможностями звукописи родного языка – просто словами:

музыка моя, слова,
то ли поле, те ли ели,
то ли лебеди летели,
то ли выпали метели,
кровля, кров ли, покрова –

музыка моя, слова,
ах, как музыка играет,
только сердце замирает
и кружится голова –

синь, синица, синева.



Пространство и время в поэзии В. Высоцкого

С. М. БЕЛЯКОВА,
кандидат филологических наук

*И снизу лед, и сверху –
Маюсь между ...
Дотла сгорело время ...
В. Высоцкий*

У каждого художника свои отношения со временем. Со временем – эпохой, временем – жизнью, тем непостижимым феноменом, “тем ужасом, который был бегом времени когда-то наречен” (А. Ахматова).

С появлением работ М.М. Бахтина пространственная и временная координаты (хронотоп) признаны основными характеристиками художественного текста. Хронотоп определяет жанр, неразрывно связан с сюжетом, системой образов и мотивов. При этом, по М.М. Бах-

тину, в литературе ведущим началом в хронотопе является время. Риском предположить, что это не всегда так.

Примером может послужить поэтическое творчество Владимира Высоцкого, где пространство является, на наш взгляд, определяющим началом.

Модель времени, выявляемая в текстах Высоцкого, очень специфична. В одной из немногих работ, посвященных этой теме (Кац Л.В. О семантической структуре временной модели поэтических текстов Высоцкого // Мир Высоцкого. Вып. III. Т. 2. М., 1999. С. 88–95), автор утверждает, что “время... для его [Высоцкого] художественного мира не значимо”. Думается, что это утверждение нуждается в корректировке. Время присутствует в поэтических текстах Высоцкого, но его приметы, отношение к нему автора во многом уникальны.

Прежде всего, отметим отрицательное отношение Высоцкого к феномену времени. Вероятно, это влияние эпохи, того исторического отрезка, на протяжении которого жил и писал поэт. В его стихах отмечаются разные значения слова *время*. Это и “эпоха”, и “деятельная антропоморфная субстанция”, и “пассивная субстанция”, и некоторые другие, но, как правило, с ним связана отрицательная оценка, грустные, болезненные ассоциации. Вот атрибуты времени: “замешенное на крови” (“Из дорожного дневника”); “время неудач”; “нелегкий век” (“Баллада о маленьком человеке”); “наши будни – без праздников, без выходных” (“Кругом – водная гладь”). Не менее выразительны и его предикаты: “как оспой, белело время нами” (“Мой Гамлет”); “навылет время ранено” (“Пожары”); “ему очень больно от трения” (“Песня башенных часов”); “оторвать от него верхний пласт или взять его крепче за горло” (“Баллада о времени”); “но не хочу я знать, что время лечит, оно не лечит, а оно калечит” (“Время лечит”).

В стихотворении “Пожары” скачущее вперед, “напрямую, не по кругу” время тоже оценивается отрицательно (ср. с катаевским “Время, вперед!”). Будущее предстает совсем не светлым: “обещанное – завтра будет горьким и хмельным”.

В творчестве Высоцкого отмечается довольно редкий феномен “остановленного времени”. И это трактуется как несчастье в противоположность знаменитому фаустовскому “Остановись, мгновенье! Ты прекрасно!”. В стихотворении “Песня башенных часов” люди испортили, “обидели” время, и оно остановилось: “Обижать не следует время, плохо и тоскливо жить без времени”. Такое восприятие согласуется со значением слова *безвремяе* – “тяжелое время, пора невзгод; время общественного, культурного застоя” (МАС, с пометой “устар.”), ср. также диалектное *безгодье* (брянск.), в словаре Даля – безгода, безгодица, безгóдушка. У Высоцкого: “Мы тоже дети страшных лет России – безвремяе вливало водку в нас” (“Мы – дети России”).

Стремление “остановить мгновение” в стихотворении “Чудной палач” вновь связано отнюдь не с моментом наивысшего наслаждения, это время казни:

Когда он станет жечь меня и гнуть в дугу,
Я крикну весело: – Остановись, мгновение, –
Чтоб стоны с воплями остались на губах!

Показательны и строки из “Баллады о коротком счастье”, где мгновение “останавливают” охотники, убившие пару лебедей. И, наконец, в стихотворении “Десантная” этот мотив разворачивается в апокалипсическую картину:

А мертвое солнце все топчет зенит
Подковами по камням.

Время, в котором живет Высоцкий, очевидно, воспринимается им как “не свое”. И даже утверждение “Мой век стоит сейчас” (“Люблю тебя сейчас...”) имеет продолжение – “я вен не перережу”. В стихотворении “Я не успел”, как заметил Л.В. Кац, “время – замкнувшееся пространство, куда не успел попасть лирический герой”: “В других веках, годах и месяцах все женщины мои отжить успели”. Отсюда – стремление уйти в другие времена, иные эпохи. Об этом говорят названия многих стихов-песен: “Любовь в эпоху Возрождения”, “В древнем Риме”, “В средневековье”, “Песня о петровской Руси” и др. Отсюда и отстраненность, парадоксальность в восприятии времени, темпоральные “перевертыши”: “час зачатъ я помню неточно” (“Автобиография”); “а что мы себе думаем – день, то ночь, а что мы себе думаем – ночь, то день” (“Физики”). Приметы иллюзорной власти над временем, присвоенной большевиками (“Пятилетку в 4 года!” и тому подобные лозунги), обыгрываются Высоцким, приобретая то трагический оттенок (“Там год за три, если Бог хранит, как и в лагере, зачет” – “Все ушли на фронт”), то явную пародийность (“Пять лет – в четыре месяца, – экстерном, так сказать!” – “Вживание в роль”).

В стихотворении “Люблю тебя сейчас...” – обыгрывание слова *время* в значении “грамматическая категория”, что, конечно, обусловлено автобиографическими причинами: “смотрю французский сон с обилием “времен”, “люблю тебя и в сложных временах – и в будущем и в прошлом настоящем!”.

Весьма частотны в поэзии Высоцкого случаи хронотопа (в узком смысле этого термина), когда время и пространство предстают в неразрывной связи, как бы “перетекают” одно в другое: “Где твои семнадцать лет? – На Большом Каретном” (“Большой каретный”); “а позади шесть тысяч километров, а впереди – семь лет синевы” (“Бо-

дайбо"); "под Новый год – назад пятьсот, пятьсот вперед" ("Дорожная история"); "по пространству времени мы прем на звездолете, как с горы на собственном заду" ("Марш космических негодяев"); "он в землю лег за пять шагов, за пять ночей и за пять снов" ("Песня о моем старшине"); ср. также название "Не уводите меня из весны".

Пространственная картина мира Высоцкого более значима, но менее разнообразна. Прежде всего, отметим сознание предела, мысль об отсутствии выхода, которая "постоянно преследует героев, не только запертых в ограниченных пространствах квартир-камер, но даже находящихся вне стен" (Скобелев А.В. Образ дома в поэтической системе Высоцкого // Мир Высоцкого. Вып. III. Т. 2. М., 1999. С. 114). Вот строки о пределе, черте, которую нельзя переступить, обо всем том, что ограничивает свободу человека: "если б ту черту да к черту отменить" ("Про прыгуна в длину"); "если был на мели – дальше нету пути?" ("Баллада о брошенном корабле"); "неужели мы заперты в замкнутый круг?" ("Не уезжай!"); "смыкается круг, не прорвать мне кольца" ("Так дымно..."); "и нельзя мне выше, и нельзя мне ниже..., мне нельзя налево, мне нельзя направо" ("За меня..."), и даже парадоксальное – "в небе висит, пропадает звезда – некуда падать" ("Звезды"). Показательно повторение отрицательных местоимений и наречий: *нету, нельзя, некуда*. Герои стремятся преодолеть этот предел: "у него есть предел, у меня его нет" ("Летчик-испытатель"); "но я надеюсь (года не пройдет) – я все же зашвырну в такую даль его [молот], что и судья с ищейкой не найдет ("Метатель молота"); "я горизонт промахиваю с хода!" ("Горизонт"); "сны про то, как выйду, как замок мой снимут, как мою гитару отдадут" ("За меня ...").

Но чаще всего это лишь мечты или сны (можно ли "промахнуть" горизонт?). Ирреальность ситуации подчеркивают глаголы в форме будущего времени. Зачастую выхода нет: "ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход и то не тот" ("Дорожная история"); "вот вышли наверх мы, но выхода нет" ("Спасите наши души").

Другая важная черта пространственного видения Высоцкого – это ориентация "верх–низ", причем в противоположность традиционной универсальной системе ценностей положительно оценивается именно низ. Таких примеров множество: "но здесь мы – на воле – внизу, а не там" ("Спасите наши души"); "как под горку катит, хочет пир горой" ("На дистанции"); "падайте лицами вниз, вниз! Вам это право дано" ("Марш карточной колоды"); "кабы красна девица жила в полуподвале" ("Серенада Соловья-Разбойника"); "потому что из тех коридоров, им казалось, сподручнее – вниз" ("Автобиография").

В некоторых текстах верх и низ амбивалентны, они почти тождественны: "груз тяжелых дум наверх меня тянул" ("Мой Гамлет"); "или спутал, бедняга, где верх и где низ? В рай хотел? Это верх" ("Расска-

жи, дорогой”); “они упали вниз вдвоем, так и оставшись на седьмом, на высшем небе счастья” (“Баллада о коротком счастье”).

Абстрактное понятие “низ” как спасительное место реализуется в более конкретных лексемах. Это *туннель* (“туннели выводят на свет” – “Автобиография”); *земля* (“мы летали под Богом, возле самого рая, он поднялся чуть выше и сел там, ну а я до земли дотянул” – “Песня о погибшем летчике”), а также *шахта* в “Черном золоте”:

Не бойся заблудиться в темноте
И задохнуться пылью – не один ты!
Вперед и вглубь! Мы будем на щите!
Мы сами рыли эти лабиринты.

Но чаще всего это вода, дно: “нас тянет на дно, как балласты” (“Нас тянет на дно”); “лечь бы на дно, как подводная лодка” (“Сыт я по горло...”). В стихотворении “Упрямо я стремлюсь ко дну...” вода – это и “извечная утроба”, и “самая суть”. Низ, дно дня Высоцкого – спасение (“спаслось и скрылось в глубине все, что гналось и запрещалось”); верх – смерть: “наверх – не смей! Там... рогатая смерть” (“Спасите наши души”).

Есть и приметы необычной оценки координат “вперед – назад”, хотя они менее ярки. В стихотворении “Погоня” конь-коренник, бросившись назад, уносит героя от волков. Для того, чтобы спасти человека в море (стихотворение “Человек за бортом”), дается команда “Полный назад!”.

Я пожалел, что обречен шагать
По суше, значит, мне не ждать подмоги.
Никто меня не бросится спасать
И не объявит шлюпочной тревоги.
А скажут: – “Полный вперед! Ветер в спину!
Будем в порту по часам.
Так ему, сукину сыну:
Пусть выбирается сам!”.

В эту схему не совсем укладываются некоторые стихи, например, “Про первые ряды”, где на протяжении всего текста утверждается преимущество “задних рядов”: “там, впереди – как в спину автомат, тяжелый взгляд, недоброе дыханье”, “уж лучше где темней, в последний ряд. Отсюда больше нет пути назад”. Но заканчивается оно противоположным призывом: “С последним рядом долго не тяни, а постепенно пробивайся в первый”, что позволяет говорить о кольцевой композиции, так как первая строка – “была пора – я рвался в первый ряд”.

Еще одна особенность художественного мира Высоцкого – игра с пространствами, “перевертыши” локальные (наряду с темпоральными). Наиболее яркий пример и тех и других – стихотворение-песня “Физики”:

Все теперь на шарике вкривь и вкось,
Шиворот-навыворот, набекрень.
А что мы себе думаем – день, то – ночь
А что мы себе думаем – ночь, то – день.

И где полюс был – там тропики,
А где Нью-Йорк – Нахичевань.

Ср.: “ось земную мы сдвинули без рычага” (“Мы вращаем землю”), где эта же тема решается не в юмористическом, а в трагическом ключе.

Изменяются не только реальные, но и сказочные миры. Разрушается сказочное Лукоморье (“Лукоморья больше нет...”), появляется не только тридевятое и тридесятое царство, но и “триодиннадцатое” (“Странная сказка”), где-то есть земля антиподов, куда попадаешь, “когда провалишься сквозь землю” (“Песня антиподов”).

Итак, пространственно-временная картина поэтических произведений Высоцкого парадоксальна: этическая оценка пространственных характеристик не совпадает с общепринятой, а временная координата редуцирована, стерта. Человек задавлен не только узким, замкнутым пространством, откуда нет выхода или “сподручнее вниз”, но и тяжелым, вязким, почти статичным временем.

Тюмень



“Зюмо-зюмо некузявые бутявки”

*Ю. Л. ВОРОТНИКОВ,
член-корреспондент РАН*

Постоянным читателям 16-й страницы “Литературной газеты”, особенно тем, которые интересуются филологией, наверняка запомнилась опубликованная здесь в одном из номеров за 1984 год “лингвосказка” Л. Петрушевской “Пуськи бятые”. Приведем окончание этого во многих отношениях любопытного произведения: «А калуша волит: “Бутявок не стрямкают. От них дудонятся. Бутявки дюбые и зюмо-зюмо некузявые”. ...А бутявка за напушкой волит: “Калушата подудонились! Калушата подудонились! Пуськи бятые. Зюмо-зюмо некузявые”». Как и подобает настоящему литературному произведению, “Пуськи бятые” стали объектом критического разбора: в одном из следующих номеров “Литературная газета” поместила небольшую, так сказать, “пуськиниану”. Здесь в пародийной форме давалось несколько вариантов литературно-критического разбора “лингвосказки”. Так лишенное, на первый взгляд, смысла, “абсурдное” построение приобрело своеобразную герменевтику, то есть проявило одну из основных особенностей реального, полноценного текста – способность быть интерпретируемым, иными словами, – заключать в себе и передавать информацию.

Кстати, именно в этом “критическом разборе” указана и “лингвопредтеча” героини “лингвосказки” – калуши. Это хорошо известная в лингвистических кругах “глокая куздра” из знаменитой экспериментальной фразы Л.В. Щербы “Глокая куздра штеко будланула бокра и кудрячит бокренка”. Действительно, и отдельная фраза Л.В. Щербы, и законченный текст Л. Петрушевской построены по одному принципу: взяты типичные строевые элементы русского языка и при их помощи оформлены пустые в семантическом отношении, то есть лишенные смысла, корневые “псевдоморфемы”.

Углубляясь в интереснейшие проблемы, которые “высветляются” этим приемом, позволяющим заглянуть в “святая святых” языкового механизма, можно было бы затронуть такие глобальные вопросы, как, например, соотношение синтаксического и лексического, формального и значимого в языке. Однако сейчас хотелось бы обратить внимание читателей на одно неперемнное условие, без которого пост-

роенный по описанному выше принципу текст утратит возможность восприниматься как таковой: все используемые строевые элементы должны обладать свойством продуктивности, то есть быть такими, какие “в языке определенной эпохи служат образцом для построения новых слов, форм, синтаксических конструкций и т.д.” (Энциклопедический словарь юного филолога. М., 1984. С. 241).

Действительно, “псевдослово” *калушата* может быть интерпретировано читающим как вполне значимое, “реальное”, обладающее определенным смыслом только на фоне широкого распространения в языке слов типа *мышата*, *лягушата* и других, включающих в свой состав очень продуктивный словообразовательный суффикс *-at(a)* со значением “больше чем одно незрелое существо”. Именно потому, что все использованные в “лингвосказке” строевые элементы очень продуктивны, мы легко опознаем в ней существительные, прилагательные в определенных падежных формах, глаголы, временную отнесенность действия и так далее.

Надо сказать, что принцип использования наиболее продуктивных строевых элементов естественного языка может быть применен не только в экспериментальных построениях, как у Л.В. Щербы, или в “абсурдных” текстах, рассчитанных на заведомо несерьезное, юмористическое их истолкование, как в “лингвосказке” Л. Петрушевской. По этому же принципу построены и различные тайные языки, создаваемые определенными социальными группами и служащие чисто утилитарным целям – обеспечить недоступность передаваемой информации для непосвященных. К числу таких языков относился, например, язык бродячих торговцев – офеней, созданный с целью защиты от возможных покушений на них во время постоянных скитаний по далеко не безопасным дорогам провинциальной России. Вот образчик разговора на этом языке: “– Мас скудается – устрекою шуры не прикосали бы и не отъюхтили шивару. – Поерчим массы бендюхом, а не меркутью”. “Перевод” этого разговора на обычный русский язык выглядит так: “– Я боюсь – как бы нас дорогою не побили воры и не отняли товару. – Так поедем днем, а не ночью”.

Разбирая этот отрывок, Л.П. Крысин пишет: «Легко можно заметить, что корни слов “засекречены”, а грамматика – обычная, русская» (Энциклопедический словарь юного филолога. М., 1984. С. 30). Действительно, и язык офеней использует только наиболее продуктивные образцы словообразования и словоизменения. Причем даже существующие в речи отклонения от продуктивных моделей сглаживаются, унифицируются. И если в обычном языке единственное и множественное число личного местоимения первого лица образуются от разных основ (*я – мы*), то в языке офеней эта непродуктивная модель заменяется на наиболее продуктивную (*мас – массы* как *час – часы*

или *нос* – *носы*). Впрочем, можно отметить в приведенном отрывке и отклонения от обычной грамматики. “Неграмматично”, в первую очередь, выражение *мас скудается* в значении *я боюсь*. В этом случае, надо полагать, употребление местоимения первого лица с глагольной формой третьего лица объясняется стремлением как раз избежать излишней грамматической прозрачности, засекретить, о ком идет речь.

Итак, различные искусственные построения, создаваемые на базе естественного языка в различных целях, стремятся к использованию наиболее продуктивных образцов словообразования, словоизменения, синтаксических конструкций. С какой же продуктивной моделью соотносится в таком случае дважды встречающаяся в “лингвосказке” “Пуськи бятые” форма *зюмо-зюмо* в выражении *зюмо-зюмо некузявые?* По всем признакам она должна быть определена как удвоенное наречие степени, причем и в этом случае мы имеем пример супергенерализации реальных языковых моделей. Наиболее распространенное наречие степени в русском языке – наречие *очень*, и именно для него характерно употребление в повторах (*очень-очень хороший, очень-очень холодно, очень-очень люблю* и т.п.). Однако наиболее типичный формальный показатель наречий степени – это не мягкий знак, а суффикс -о: *чрезвычайно, чрезмерно, невыразимо, неопишимо* и др. Но в повторах эти наречия практически не встречаются. В искусственном тексте использованы и наиболее продуктивная модель образования наречий степени, и часто встречающееся в языке их повторение.

В своей книге “Язык” Э. Сепир писал: “Нет ничего более естественного, чем факт широкого распространения удвоения, иными словами, повторения всего или части корневого элемента. Этот процесс обычно используется с самоочевидным символизмом для обозначения таких понятий, как распределение, множественность, повторность, обычность действия, увеличение в объеме, повышенная интенсивность, длительность” (Э. Сепир. Язык. М., 1934. С. 59). Русский язык в этом отношении не является исключением: удвоение, называемое в специальной литературе редупликацией (от позднелат. *reduplicatio* – удвоение) или геминацией (от лат. *geminatio* – удвоение), в нем также весьма распространено. Удваиваться могут разные части речи, но наиболее типичны повторы для наречий и прилагательных.

По своей структуре редулицированные формы прилагательных и наречий в русском языке могут быть разбиты на три типа. Тип 1 – простое удвоение (*красивый-красивый, темно-темно* и т.п.). Тип 2 – удвоение, содержащее форму с суффиксом -ым в первой части (*белым-бело, полным-полно* и т.п.); этот тип отличается следующими особенностями: в такого рода построениях используется ограниченное количество прилагательных и наречий; они употребляются только в краткой форме и, следовательно, могут быть только сказуемыми: *комната пол-*

ным-полна, но не *полным-полная комната; в них используются только формы женского и среднего рода: *ночь была темным-темна, в лесу было белым-бело*, но вряд ли *зал был полным-полон (об этом см.: Теория функциональной грамматики. Качественность. Количественность. СПб., 1996. С. 117). Тип 3 – удвоение, содержащее во второй части прилагательное, наречие или причастие, образованное при помощи приставки или суффикса (*ломаный-переломаный, грустный-прегрустный, страшный-расстрашный, строго-настрого, здоров-здоровешенек, жив-живехонек* и т.п.). Возможны и удвоения с формой на -ым в первой части и уменьшительной формой – во второй (*пьяным-пьянешенек, веселым-веселешенька* и т.п.). Встречаются и другие типы удвоений, менее распространенные, например: *А ночь темнущая-темная* (Д. Фурманов. Чапаев); *Правейшие-правая рука* (Б. Пильняк. О'Кей. Американский роман).

Удвоения с уменьшительными формами во второй части, как неоднократно отмечалось, типичны для устного поэтического творчества, а также для “народной” речи (см., например: Виноградов В.В. Русский язык. М., 1972. С. 207). Можно, очевидно, добавить, что они могут характеризовать также утрированно эмоциональную, сентиментально-“сюсюкающую” речь, прежде всего, похоже, женскую, особенно обращенную к детям. В целом же их использование в современном языке весьма ограничено. Чаше всего они служат целям стилизации под народно-поэтическую речь.

Как уже упоминалось, в русском языке возможны удвоения наречий степени, но круг их узок. Это, в первую очередь, такие наречия со значением низкой степени, как *чуть-чуть, едва-едва, еле-еле*, для которых удвоенные формы очень тихичны, а форма *чуть-чуть* даже больше распространена, чем единичное наречие *чуть*. Достаточно распространено и удвоение наречий *очень, совсем*. Другие наречия степени практически не удваиваются.

Какова же функция удвоенных форм прилагательных и наречий в современном русском языке? В.П. Берков, например, полагает, что в первую очередь они используются как один из способов выражения интенсивности признака, который может быть назван “редуплицированным интенсивом” (Теория функциональной грамматики. Качественность. Количественность. СПб., 1996. С. 116). В.В. Виноградов писал, что усилительные обороты с повторением формы прилагательного типа *тихий-тихий, простой-простой* и т.п. синонимичны “с формами прилагательных, выражающих безотносительную предельную степень признака” (Виноградов В.В. Указ. соч. С. 207). Такие формы в специальной литературе называются абсолютным суперлативом или элативом (от лат. *elatus* – “поднятый, возвышенный”).

Элативное значение – это значение предельной степени признака или безотносительно большой меры признака. Оно выражается формами превосходной степени *-ейший, -айший* в предложениях типа *Он умнейший человек; Погода стояла чудеснейшая* и т.п., лишенных компонента сравнения. Г.П. Павский об этом писал: “Превосходная степень указывает такое

превосходство вещи, что она по своему преимуществу перед всеми даже не идет в сравнение. Поэтому при сравнительной степени всегда стоит имя той вещи, которая входит в сравнение, а прилагательное имя превосходной степени может стоять отдельно” (Павский Г.П. Филологические наблюдения над составом русского языка. Рассуждение 2. СПб., 1850. С. 142–143). Безотносительное, или элативное, употребление превосходной степени характеризуется повышенной экспрессивностью.

Итак, согласно этой точке зрения, редулицированные формы и элатив синонимичны и выражают значение высокой степени признака. Следовательно, можно выстроить такой ряд эквивалентных форм: *умный-умный человек* = *умнейший человек* = *очень умный человек*.

Интересные наблюдения над природой редулицированных форм (синтаксической редуликации) и абсолютного суперлатива (элатива) сделала А. Вежицкая, анализируя эти явления в итальянском языке в сравнении с английским. По ее мнению, суть синтаксической редуликации не в обозначении высокой степени признака. Называя, например, *чи-то глаза* *perì perì* (черными-черными), говорящий “настаивает на том, что эти глаза были действительно черными – в буквальном смысле черными; что их цвет был не близок к черному, а именно черный, что здесь не подразумевается никакого преувеличения” (Вежицкая А. Семантические универсалии и описание языков. М., 1999. С. 235).

Абсолютный суперлатив же, напротив, предполагает эмоциональное преувеличение каких-либо качеств. Об этом же писал О. Есперсен: “При употреблении суперлатива для выражения очень высокой степени вместо высшей бывает естественная склонность преувеличения” (The Philosophy of grammar. 1924. P. 247–248). А. Вежицкая полагает, что, используя абсолютный суперлатив, говорящий «полностью сознает, что он говорит “чуть больше, чем строго правду”...», чтобы выразить свое эмоциональное отношение к состоянию дел, о которых идет речь» (Вежицкая А. Указ. соч. С. 251).

А. Вежицкая анализирует материал итальянского языка, однако замечает, что природа абсолютного суперлатива и синтаксической редуликации и в русском языке такая же. Впрочем, по ее мнению, настоящая синтаксическая редуликация в русском языке хоть и существует, но употребляется очень редко (Вежицкая А. Указ. соч. С. 257). С этим трудно согласиться. В русском языке, как представляется, это явление также распространено достаточно широко.

Итак, с этой точки зрения сочетание *очень умный* выражает высокую степень признака; редулицированная форма *умный-умный* свидетельствует об отсутствии преувеличения, достоверности утверждения; абсолютный суперлатив (элатив) *умнейший* – об эмоциональном преувеличении реального положения дел. Следовательно, синонимичности между этими тремя формами выражения мысли нет.

Можно полностью согласиться с характеристикой А. Вежицкой сути абсолютного суперлатива (элатива). Однако суть синтаксической редупликации в русском языке, как кажется, все же несколько иная, чем в итальянском. А. Вежицкая приводит в своей работе следующие русские примеры: *“Но вы не можете же меня считать за девочку, за **маленькую-маленькую** девочку, после моего письма с такой глупой шуткой!”* (Ф. Достоевский); *“Я думал он такой ученый, академик, а он вдруг так **горячо-горячо...**”* (Ф. Достоевский); *“Она, видимо, чего-то стыдилась и, как всегда при этом бывает, **быстро-быстро** заговорила совсем о постороннем”* (Ф. Достоевский). В первом и третьем примере значение удвоенных форм можно описать следующим образом: очень-очень маленькую девочку; очень-очень быстро заговорила. Они выражают интенсивность признака, его эмоционально переживаемую высокую степень, но не стремление говорящего подчеркнуть достоверность, точность выбранного им слова: (?) *действительно маленькую, буквально маленькую девочку*; (?) *действительно быстро, буквально быстро заговорила*. Во втором примере использование наречия *очень* затруднено: (?) *так очень-очень горячо*. Однако в этом случае уже употреблено слово с интенсифицирующим значением: *так*. Этот интенсификатор широко распространен в различного рода предложениях со значением высокой степени признака: *Здесь так душно; Он так интересно рассказывает* и т.п.

Кроме наречия *очень* (а точнее его удвоенной формы *очень-очень*), в первом примере можно использовать и удвоенное наречие *совсем-совсем*: *Но вы не можете же меня считать за девочку, за совсем-совсем маленькую девочку*. Такая замена возможна во всех случаях, когда мы имеем прилагательное или наречие, обозначающее предельный признак: *совсем-совсем низкий, совсем-совсем грязный* и т.п.

Можно, очевидно, сделать такой вывод: в русском языке редуплицированные прилагательные и наречия обозначают очень высокую или предельную степень признака, вызывающую у говорящего какие-либо эмоции.

Разные исследователи по-разному трактуют грамматический статус удвоенных форм. Н.Ю. Шведова рассматривает их как синтаксические построения (Шведова Н.Ю. Очерки по синтаксису русской разговорной речи. М., 1960. С. 30). Н.М. Шанский говорит о них как о сложных словах, или сближениях, о редуплицированных формах типа *синий-синий, давно-давно* и т.п. (Шанский Н.М. Очерки по русскому словообразованию. М., 1968. С. 270). На наш взгляд, все же трудно считать редупликацию в русском языке одним из способов словообразования. Все подобного рода построения возникают в определенных синтаксических условиях, и поэтому точка зрения Н.Ю. Шведовой представляется более обоснованной.

РОССИЯ В МЕТАФОРИЧЕСКОМ ЗЕРКАЛЕ*

А. П. ЧУДИНОВ

доктор филологических наук

IV.

Современные средства массовой информации отличаются стремлением к индивидуальному (“фирменному”) стилю, экспрессивностью, нередко граничащей с карнавальностью, и раскрепощенностью, переходящей порой во вседозволенность. Общественное сознание при этом чрезвычайно быстро наполняется необъяснимым доверием не только к некоторым политическим лидерам и партиям, но даже к некоторым политическим терминам и метафорам, а затем столь же стремительно утрачивает иллюзии.

Основная функция политической речи – это изменение представлений адресата о политической реальности, своего рода преобразование политического мира в сознании читателей и слушателей. Одно из важнейших средств такого преобразования – метафорическая модель, которая позволяет представить какую-то сложную проблему как достаточно простую и хорошо знакомую, сделать ее более значимой либо наоборот отвлечь от нее внимание общества, показать один из вариантов развития событий как совершенно невозможный или, наоборот, вполне естественный.

Каждая продуктивная метафорическая модель способна актуализировать определенный комплекс существующих в национальном сознании концептуальных векторов. Например, для ранее рассмотренных нами метафор с исходными понятийными сферами “Криминал”, “Война” и “Болезнь” характерны сильные концептуальные векторы агрессивности, тревожности, неверия и неестественности существующего в стране положения. Несколько иной характер имеет концептуальный потенциал рассматриваемой в настоящей статье метафорической модели “Политика – это спорт”. Обратимся прежде всего к основным проявлениям указанной модели.

1. “Виды спорта”.

Значительное количество политических метафор ориентировано на командные спортивные игры. Обычно это хорошо известные в

* См.: Русская речь. 2001. № 1, 3, 4.

России виды состязаний (футбол, баскетбол, теннис, хоккей), в которых участвуют возглавляемые капитанами команды (правительственная, президентская, губернаторская и др.), в состав которых входят не только основные, но и запасные игроки и которыми руководит тренер, разрабатывающий стратегию и тактику матча:

“Борис Николаевич до последнего сомневался: идти ли на второй срок с таким рейтингом. А на скамье запасных – ноль” (А. Гамов); “Как человек я не люблю Президента. Однако как футболист я играю с ним в одной команде” (В. Новодворская); “В команде НДР есть опытный капитан, который не допустит своеволия: некоторые игроки уже отчислены” (А. Горбунов).

Едва ли не самая любимая игра наших политиков и журналистов – шахматы. Термины этой игры (*рокировка, ход конем, пат, жертва ферзя, проходная или разменная пешка* и др.) встречаются в самых различных политических контекстах:

“Мы присутствуем при грандиозном шахматном матче Путин–Вашингтон, где российский игрок *разыгрывает партию*, не предусмотренную теорией *шахматной игры*” (Е. Мячин); “В Кремле пока не придают значения слухам о возможных *рокировках* в правительстве” (Т. Нетребя); “Каждому из тройки аутсайдеров будет уготовлена участь *разменной пешки*, а посему очень жаль, что эти кандидаты будут участвовать в *чужой игре*” (А. Выборнов).

Особую группу составляют метафоры, основанные на видах спорта, целью которых является первенство в преодолении определенной дистанции (это может быть *марафон, спринт* и др.); участники соревнований обычно *бегут*, но это могут быть и *скачки, гонки* на яхтах, велосипедах или автомобилях. Нередко зрители делают *ставку* на победу одного из участников соревнований:

“Можно будет немного отдохнуть перед завершающим этапом предвыборного *марафона*” (С. Ведерников); “Аутсайдеру предвыборной *гонки* было отказано в регистрации” (С. Митрофанов); “Те, кто *ставит* на Шеремета, не *поставят* на Спектора, а ковпаковским поклонникам ни Шеремет, ни Спектр не в кайф. Ипподром, однако” (А. Выборнов).

В политической метафоре часто используются также спортивные понятия *старт* и *финиш*:

“Большинство голосов набрала Л. Мишустина, имевшая на *старте* кампании минимальные шансы” (Л. Дмитриева); “Президентская кампания *вырулила на финишную прямую*” (В. Нилов); “Главные соперники действующего губернатора – Гришанков, Гартунг и Уткин – предвыборный *старт* начали совершенно по-разному” (А. Чистяков).

Достаточно распространены и метафоры, связанные с другими видами спорта: особенно популярны у наших политиков и журналистов стрельба и спортивные единоборства (борьба, бокс и др.):

«Когда появилась книга, наши оппоненты взбесились. Все это говорит о том, что мы *попали в “десятку”*» (С. Шойгу); «Долгая работа с Ельциным в областном хозяйственном аппарате сделала из нынешнего губернатора опытного политического *борца*» (И. Белых); «После выборов НДР оказался в глубоком *нокауте*» (В. Филимонов).

Вместе с тем спорт в русском национальном сознании все-таки воспринимается как игра, потеха, а не дело, которому должны быть отданы основное время и главные силы. Поэтому метафорическое представление политиков (например, кандидатов в губернаторы) в виде осыпающих друг друга ударами боксеров, участников марафонского забега, футбольного или шахматного матча часто имеет отрицательную эмоциональную оценку.

2. «Квалификация спортсменов и итоги соревнований».

В спорте различаются фавориты (участники соревнований, которых специалисты заранее считают самыми сильными), лидеры (участники соревнований, которые идут первыми на каком-то этапе соревнований) и победители (чемпионы), которые оказываются первыми на финише. Фаворит и даже лидер далеко не всегда оказывается победителем. Иногда хороших результатов добивается даже аутсайдер, который до соревнований или даже на каком-то их этапе оценивался как наиболее слабый участник. В политической жизни нередко встречаются аналогичные ситуации, что позволяет использовать спортивные термины:

“*Фаворитами избирательной гонки* являются действующий губернатор и недавний вице-губернатор. По оценкам аналитиков *лидирует* пока П. Сумин” (А. Веснин); “А кто возглавлял список *фаворитов* предвыборной гонки в апреле 1999?” (Г. Явлинский); “И те, и другие сейчас политические *аутсайдеры*, и, может быть, это их объединяет” (А. Выборнов).

При значительном количестве участников по итогам состязаний выявляются чемпион, которому обычно вручается “золотая медаль”, вице-чемпион – обладатель “серебряной” награды, а также третий призер, который награждается “бронзовой” медалью. Часто успехом считается уже сам факт попадания в сборную команду, участие в олимпийских играх или престижном чемпионате, сохранение места в высшей лиге первенства страны (другие команды играют в первой, второй и региональных лигах). Хорошо известная структурированность спортивных достижений постоянно метафорически используется в политической речи:

«Нет ничего обидного для игрока *“второй политической лиги”* проиграть лидеру. Но вот каким ты пришел к финалу – вторым, третьим или последним – очень важно» (Л. Вершинина); «Чернецкому даже открыть нечего, кроме нового хлебного киоска! После чего его называли чемпионом среди мэров по перерезанию ленточек» (Д. Астралова); «Результаты выборов предсказуемы. Интрига сохраняется лишь в борьбе за *“бронзу”*» (В. Нилов).

В некоторых видах спорта успех оценивается количеством набранных очков, которое может быть равным. Подобный способ определения результата также используется в политических текстах:

«А вот счет воображаемого матча с Брусницыным: Чернецкий – 53.5%, его противник – всего 8%» (И. Белов); «Сейчас я вижу, что любая проблема рассматривается с позиций набора *политических очков*, а не реальной пользы городу» (Ю. Брусницын); «Таким образом, боевая ничья: зубы региональной политики остались каждый при своем» (Л. Кошечев).

Как известно, неудачники спортивных соревнований часто жалуются на несправедливость судьбы, предвзятость судей и неспортивное поведение соперников, а победители больше говорят о закономерности и справедливости результата. По названным признакам многие политические пресс-конференции удивительно похожи на спортивные, что особенно подчеркивается общей терминологией.

3. «Правила игры и наказания».

Спортивная деятельность подчинена правилам, включающим ограничение игрового времени и пространства, разделение на *“своих”* и *“чужих”*, определение запрещенных приемов и способов действия. И в спорте, и в политике существуют также этические нормы, нарушение которых не влечет немедленного наказания, но может испортить репутацию человека. Метафорическое употребление спортивной терминологии в политической речи нередко связано именно с необходимостью точно определить правила политической деятельности: «Основная проблема – на стороне государственной власти, которая неспособна создать такие *правила игры*, чтобы преступники шли в тюрьму, а честные граждане чувствовали себя в безопасности» (Б. Федоров); «Поражает же как недостаточная продуманность решений местного парламента, так и не-прописанность *правил игры*» (М. Мурзин).

Случается, что спортсмены нарушают правила игры. Особенно осуждаются намеренные нарушения, грубые приемы, непорядочное поведение. Авторы политических текстов стремятся перенести негативное отношение к нарушителям спортивных правил на нарушителей правил политической игры:

«Помните *“руку бога”*, которая помогла футболисту Марадоне забить решающий гол? И на нынешних выборах мы видим желание *“иг-*

рать рукой” (а то и обеими сразу). Невозможно иначе объяснить готовность давать перед выборами любые предвыборные обещания» (Комс. правда); “Распространение лживых слухов – это удар ниже пояса, за который в боксе следует немедленная дисквалификация” (Б. Найдин); “Важно выработать у горожан иммунитет по отношению к действиям за гранью фолла” (А. Выборнов).

В спорте принята определенная система наказаний за нечестную борьбу: это может быть предупреждение, временное или постоянное удаление с поля, начисление штрафных очков, снятие с состязаний, дисквалификация. Решения, вынесенные спортивными судьями, практически невозможно обжаловать. Зрители всегда сочувствуют спортсменам, ведущим честную борьбу, и осуждают спортивных хулиганов. Вся эта хорошо известная любителям спорта структурированность нередко становится основой для политических метафор:

“Против губернатора ведется нечестная игра. На футбольном поле такие игроки давно *получили бы красные карточки, были бы удалены, а то и вовсе дисквалифицированы*” (Комс. правда); “Политических грубиянов надо *удалять с поля*, как строгий судья удаляет проштрафившихся хоккеистов” (К. Веснин); “Борис Федоров *удален до конца игры*. Ему окончательно закрыли путь в совет директоров Газпрома” (О. Губенко).

В последнее время судебные органы действительно начали “снимать с соревнований” нарушителей существующих политических правил, что сопоставимо с дисквалификацией спортсмена. Однако зрители постоянно высказывают сомнения в объективности российских судей (и не только спортивных).

Материалы данной статьи свидетельствуют о высокой продуктивности спортивной метафоры в современной политической речи. Политическая деятельность регулярно метафорически обозначается как спортивное состязание, где необходимо соблюдать строгие правила честного соперничества, где успех в значительной степени предсказуем, победа приходит к сильнейшему, хотя бывают разного рода неожиданности. В подобных образах очень ярки концептуальные смыслы “соревнование”, “борьба”, “азарт”, но нет той ожесточенности, какая присуща военной или криминальной метафоре, и нет того пессимизма, который характерен для метафор с исходной понятийной сферой “Болезнь”. Вместе с тем спортивная метафора часто связана с оценкой политической деятельности как сферы, где много далекого от важнейших проблем обычного человека; случайного, не подлинного, значимого только для самих участников политических игр и их болельщиков.



ДЕЙСТВЕННЫЙ – ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ – ДЕЙСТВУЮЩИЙ

В. И. КРАСНЫХ,
кандидат филологических наук

Прилагательное *действенный* существует в русском языке с древних времен. Его значение можно сформулировать следующим образом: “Способный активно действовать, воздействовать на кого–что–л.; дающий наилучший результат, эффективный”. С течением времени круг существительных, с которыми сочетается это прилагательное, постепенно расширяется. В него входят отвлеченные существительные, в семантике которых заключена идея деятельности или процессуальности: *метод* (чего–л.), *способ* (чего–л. или с неопр. формой глагола), *средство* (для чего–л. или против кого–чего–л.), *меры* (для чего–л. или против чего–л.), *борьба* (с кем–чем–л. или против кого–чего–л.) *контроль* (за чем–л.), *помощь* (кому–чему–л. в чем–л.), *программа* (чего–л.), *политика*, *фактор* (чего–л.), *критика* (кого–чего–л.), *пропаганда* (чего–л.), *агитация* (за кого–что–л. или против кого–чего–л.), *теория*, *учение*, *реформы* (в области чего–л.), *перемены* (в чем–л.), *реорганизация* (чего–л.), *лозунг*, *призыв* (к чему–л.) и т.д. Приведем ряд примеров:

“Самый *действенный* способ улучшить память – создать себе мощную мотивацию” (Профиль. 1999. № 2); “Если не вести *действенной* борьбы с коррупцией, то правы те, кто выступает против государственного регулирования” (Сегодня. 1994. 15 июня); “Самым *действен-*

ным средством для обработки внутренней поверхности обуви считается масло чайного дерева” (Домашний очаг. 1999. Март); “Следует признать, что это, безусловно, весьма *действенная* экономическая программа (Известия. 1996. 17 янв.).

Следующий член паронимического ряда – прилагательное *действительный* – также употребляется в русском языке в течение многих веков, не претерпев за это время каких-либо существенных семантических изменений, но расширяя при этом свою лексическую сочетаемость. Толковые словари выделяют обычно два значения этого паронима: 1. Существующий или существовавший на самом деле; реальный, подлинный, настоящий. 2. *Обычно в краткой форме*. Имеющий, сохраняющий силу, действующий.

В первом значении прилагательное *действительный*, как и *действенный*, также сочетается с отвлеченными существительными: *жизнь, факт, перемены* (в чем-л.), *фактор* (чего-л.), *рост* (чего-л.), *улучшение* (чего-л.), *прогресс* (в области чего-л.), *реформы* (в области чего-л.), *контроль* (за чем-л.), *гарантия* (чего-л.), *польза, интерес* (к кому–чему-л.), *опасность* (для кого–чего-л.), *угроза* (для кого–чего-л. или кому–чему-л.), *свобода, демократия, равноправие, вакансии* и т.д. Например:

“*Действительная жизнь* тем и отлична от сочинений, что никак не догадаешься, куда она свернет” (Д. Гранин. Зубр); “Если в России не произойдет *действительных перемен* в политике и экономике, то виной тому будет вовсе не нехватка средств” (Известия. 1994. 8 июля); “Рекламные объявления, содержащие предложения работы, должны соответствовать *действительным вакансиям*” (Спрос. 1997. № 10); “Происшествие, мною рассказанное, – *действительный факт*, случившийся неподалеку от моей деревни” (С. Аксаков. Буран).

Следует отметить, что в целом круг существительных, употребляемых с прилагательным *действенный* и его паронимом *действительный* (в первом значении) не совпадает. Однако в отдельных случаях возможны паронимические сочетания этих прилагательных с такими существительными, входящими в оба списка, как *контроль, реформы, перемены*. Если они употребляются с прилагательным *действенный*, то речь идет о том, что даст хороший результат, является эффективным. А если рядом с этими существительными стоит прилагательное *действительный*, то имеется в виду, что контроль, реформы и перемены осуществляются на самом деле, носят подлинный, реальный, а не просто декларативный характер.

Во втором же значении прилагательное *действительный*, употребляемое, как правило, в краткой форме, сочетается с весьма ограниченным кругом существительных: *паспорт, удостоверение, пропуск, виза, доверенность, чек, вексель, завещание, приглашение* (офици-

циальный документ), *билеты, подпись* и некоторые другие. Приведем несколько типичных речений с этими существительными: *Доверенность действительна* три года. *Виза действительна* в течение месяца. *Пропуск действителен* до конца года. *Подпись* бывшего директора уже не *действительна*. Употребление таких клише трудностей не вызывает.

Особый интерес представляет третий член рассматриваемого паронимического ряда – адъективированное причастие *действующий*. К сожалению, этому парониму весьма “не повезло”: в качестве заголовочного слова он вообще не указывается в толковых словарях, хотя в функции прилагательного является весьма распространенным. По нашему мнению, у этого паронима можно выделить три основных значения:

1. Обладающий властными полномочиями, находящийся у власти (о государственных и политических деятелях).

2. Находящийся в действии, функционирующий, исправно работающий (обычно о предприятиях, учреждениях, технических устройствах, механизмах, приборах и т.п.).

3. Существующий на данное время и применяющийся на практике (о законах, договорах и других регламентирующих какие-л. действия документах).

В первом значении с этим прилагательным обычно употребляются такие существительные: *президент, губернатор, глава администрации* (области, города, района), *глава законодательного собрания, мэр, политик* и некоторые другие. Например:

“Около 19 процентов – таков отрыв по количеству голосов, полученных ныне *действующим президентом Украины*” (Мир за неделю. 1999. № 12); “Очевидно, что любой из претендентов (на пост губернатора) в качестве основного своего соперника будет рассматривать *действующего губернатора*” (АиФ. 1999. № 41); “И все они (участники попытки переворота) сегодня *действующие политики*...” (Профиль. 1999. № 3).

Круг существительных, сочетающихся с рассматриваемым паронимом во втором значении значительно шире: *предприятие, завод, фабрика, комбинат, цех, нефтепровод, газопровод, рудник, угольный разрез, шахта, прокатный стан, доменная печь, атомная станция, линия метро, телефонная станция, порт, стадион, бассейн, театр, фонтан, дом отдыха, санаторий, пансионат, больница, поликлиника, курсы повышения квалификации, рынок, церковь, кладбище, комбайн, экскаватор, лифт, холодильник, компьютер, насос, телескоп* и многие другие. Приведем ряд примеров:

“Стародубцев сам готов вложить в обсуждаемый проект акции *действующих предприятий*” (Профиль. 2000. № 3); “Правительство

ФРГ приняло решение о постепенной ликвидации всех ныне действующих *атомных электростанций*” (Радиостанция “Эхо Москвы”. 2001. 13 июня); “В этом году *действующие санатории и пансионаты* Сочи заранее подготовились к наступающему курортному сезону и готовы принять тысячи отдыхающих” (Известия. 2001. 14 мая); «Т-84 будет единственным *действующим образцом танка* на международной выставке вооружений “Айдекс-99”...» (Моск. новости. 1999. 16 марта).

В третьем значении прилагательное *действующий* также сочетается с большим количеством существительных: *конституция, законодательство, указ, кодекс, устав, договор, соглашение, инструкция, порядок* (чего-л.), *правила* (чего-л.), *режим, график* (чего-л.), *тариф, тарифная сетка, шкала налогообложения, процентные ставки* (в банках), *курс обмена валюты, ограничения, система* (чего-л.) и т.д. Например:

“*Действующее законодательство* позволяет требовать возмещения убытков лишь в том случае, если эти убытки причинены *неправомерными действиями*” (Метро. 2000. 26 янв.); “Во втором чтении они (депутаты) приняли законопроект об изменении *действующего закона* о налоге на добавленную стоимость” (Независимая газета. 1999. 4 марта); “Кроме того, мы подготовили ряд поправок к *действующему кодексу*...” (Профиль. 1999. № 1); “Многие *действующие правила*, регулирующие нормы домашнего поведения, легко обнаружить даже человеку постороннему” (Домашний очаг. 1999. Май); «Последний писк моды – сравнительно недавно обосновавшаяся на нашем рынке и давно *действующая* в мире *система “таймшер”*» (Известия. 1994. 1 июня).

Следует также отметить, что в некоторых случаях прилагательное *действующий* входит в состав устойчивых словосочетаний и не укладывается в рамки выделенных нами значений. К таким устойчивым словосочетаниям относятся, в частности, *действующее лицо* (персонаж литературного произведения или участник какого-либо события) и *действующая армия*.

Таковы наши наблюдения и выводы относительно толкования, лексической сочетаемости и употребления паронимов *действенный, действительный и действующий*.

В.Г. Белинский об иноязычной лексике

С. С. ИЗЮМСКАЯ,

кандидат филологических наук

Иноязычная лексика в русском контексте – с давних времен предмет многочисленных споров. Как известно, М.В. Ломоносов не ввел ее в теорию трех “штилей”, а А.С. Шишков и его сторонники настаивали на изгнании из русского языка иностранных слов и замене их соответствующими русскими аналогами. Так, в своем знаменитом труде “Рассуждение о старом и новом слоге российского языка” А.С. Шишков употребил только одно иностранное слово, и то в скобках, – именно “попугай”, которого он по-русски назвал “переклиткою”. Н.М. Карамзин и его сторонники допускали возможность использования иноязычных слов в разумных пределах. Борьба между последователями Шишкова и Карамзина не оставила равнодушным никого из причастных к отечественной литературе.

Естественно, что проблема использования иноязычных слов в русском контексте не могла не заинтересовать и “Пушкина русской критики” XIX в. В.Г. Белинского. Впервые этот вопрос был затронут им в 1834 году в статье “Литературные мечтания”, где, говоря о Петровской эпохе, критик отмечал, что “народ с удивлением и ужасом заметил, что к нему ворвались чужеземные обычаи и... исказили и испестрили его девственный язык” (Белинский В.Г. Полн. собр. соч. М., 1953. Т. I. С. 39. Далее – только том и страница). И в дальнейших своих изысканиях В.Г. Белинский писал, что новые “чужие” слова приводят в ужас и становятся в тупик не только обыкновенных читателей, “но даже и записных словесников, теоретиков изящного и особенно сочинителей риторик” (2, 372).

Позиция В.Г. Белинского о целесообразности использования иностранных слов, обозначающих новые понятия, наиболее четко была им высказана в полемике с литературными и политическими оппонентами – проправительственным журналистом Ф. Булгариным, попечителем московского учебного округа Д. Голохвастовым, славянофильским публицистом Ю. Самариным.

Впервые критик коснулся данного вопроса в публикации “Журнальная заметка” 1838 г. Здесь в ответ на обвинения в злоупотреблении нерусскими словами В.Г. Белинский высказывает мысль о том, что слова, излишние для языка, укорениться в нем не могут. Новые заимствования следует, на его взгляд, употреблять с объяснением, и – пока они не утвердились –

как можно реже. Тем не менее, полагал критик, “беда не велика, если вначале было поступлено не так, все ложные, т.е. ненужные слова уничтожаются сами собою, а удачно составленные и придуманные удержатся, несмотря на все остроумие ожесточенных гонителей всего нового, оригинального, всего выходящего из рутины посредственности, всего носящего на себе характер самобытности и силы” (3, 463). В.Г. Белинский не поддерживал опасений пуристов относительно наводнения иностранными словами (4, 61), их возмущения “всяким иностранным словом, как ересью или расколом в ортодоксии родного языка” (5, 281). Многие его взгляды актуальны и сегодня. Вот их краткое изложение:

1. Каждая новая эпоха ознаменовывалась наплывом иностранных слов. Знакомство с новыми идеями, выработавшимися на чужой почве, всегда будет приводить и новые слова (6, 282). Первоначальная причина введения новых, взятых из своего или чужого языков слов есть всегда знакомство с новыми понятиями: а разумеется, что если нет понятия – нет и слова для его выражения; явилось понятие – нужно и слово, в котором бы оно выразилось.

2. В то же время, полагал В.Г. Белинский, “кроме духа, постоянных правил, у языка есть еще и прихоти, которым смешно противиться”, и в результате даже избыточные слова могут укорениться “вопреки всякой разумной очевидности”; “У нас есть слово *торговля*, вполне выражающее свою идею; но найдите хоть одного торговца, который бы не знал и не употреблял слова *коммерция*, хотя это слово по всей очевидности совершенно лишнее? Таким же образом можно найти много коренных русских слов, прекрасно выражающих свою идею, но совершенно забытых и диких для употребления” (7, 192).

3. В.Г. Белинский выступал против излишнего, ненужного употребления иностранных слов (8, 170). Так, он писал, что “употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, – значит оскорблять и здравый смысл и здравый вкус” (9, 282).

4. Охота пестрить иностранными словами без достаточного основания и неумеренный пуризм – две противоположные крайности, которые, по мнению В.Г. Белинского, вредят не русскому языку, а только тем, кто одержим ими (9, 282). Главный хранитель чистоты русского языка – его же собственный дух, гений: “Гений языка умнее писателей и знает, что принять и что исключить” (10, 316).

Таким образом, еще в первой половине XIX века в трудах В.Г. Белинского высказывались прогрессивные мысли о роли иноязычных (“чужих”) слов в русской языке. На наш взгляд, очень полезно для правильного выбора позиции в отношении того или иного лингвистического вопроса настоящего времени, обращаться к опыту прошлого.

*Язык прессы***Имя собственное
на газетной полосе**

*Н. И. КЛУШИНА,
кандидат филологических наук*

В метафорической функции (как скрытое сравнение) собственное имя часто используется в современном языке газеты. Здесь оно становится ключевым словом в перифразе: “Кафельников – это теннисный Гагарин”. С помощью всемирно известного имени *Гагарин* журналист показывает масштаб личности теннисиста. Подобные перифразы многозначны: они соотносят не только масштабы личностей, но и вносят дополнительные смыслы, например, значимой оказывается и коннотация “первый”: первый российский космонавт – первый российский олимпийский чемпион по теннису.

Подобные перифразы, оттеняющие масштабность личности (“Вертинский – Шаляпин эстрады”) или события («Фильм “Зигмунд Колосовский” – “Фантомас” по-советски»), являются емкими формулами, не требующими распространения и экспрессивными в своей лаконичности: “Чехов всегда казался мне художником эмоциональным... Внутри Чехова – всегда Шекспир, всегда глубоко трагедийная основа”, – высказался режиссер Эмиль Лотяну, экранизовавший чеховскую “Драму на охоте”.

Следует выделить две основные тенденции в использовании антропонимов в современном газетном языке. Во-первых, это экспрессивная игра со словом и, во-вторых, идеологическое его использование в эпоху информационных войн, когда антропоним становится оценкой (часто противоречащей сложившемуся в обществе этическому канону), является грозным оружием в умелых руках журналистов.

Многие исследователи не видят разницы в этих двух журналистских стратегиях, считая разнообразное использование собственных имен на страницах газет лишь “средством отделки текстов”, в то время как это положение справедливо только по отношению к первой указанной нами тенденции (антропонимы в языковой игре).

Безудержная, яркая языковая игра, хлынувшая на страницы современных газет, – закономерная реакция на выхолощенный, штампованный язык советского периода. И здесь нужно отметить тот поло-

жительный заряд, который дает обыгрывание собственных имен. Высвечиваемая журналистами экспрессия антропонимов возвращает читателей к живому русскому слову. Журналисты умело используют различные стилистические приемы для обыгрывания имени, привнося в него дополнительные значения, высвечивая его “внутреннюю форму”. Одним из наиболее частотных приемов становится паронимазия, основанная на сближении сходно звучащих слов: “От Мутти мутилось в глазах”, “Фоменко в ритме фламенко”, “Гор горюет, Буш бушует”. Нередки авторские окказионализмы на основе антропонима. Так, передача на телевидении с ведущим Винокуром получила название “Виношоукур”. Часто антропоним кладется в основу аллюзии: “Из-за Гора, из-за Буш”. Юмористически обыгрываются имена и в графических окказионализмах: “С приходом Буша Белый дом превратится в изБУШку”.

Если же внимательно рассматривать вторую тенденцию, сложившуюся в использовании наименований человека в языке современной газеты, то можно увидеть, как экспрессивная функция отходит на второй план, а основную роль начинает играть оценка (политическая, идеологическая), превращая имя собственное в ярлык.

Современные исследователи указывают на изменения, происшедшие в использовании антропонимов на страницах сегодняшних газет. Так, интересны наблюдения Н.Б. Картозии над использованием прецедентного имени в газетном употреблении в качестве прозвища, пароля и в языковой игре (Картозия Н.Б. Отражение элементов языкового сознания российского лингвокультурного сообщества в материалах общественно-политической прессы. Дипломная работа. М., МГУ, 2000). Справедливо в какой-то мере и замечание Е.В. Какориной о том, что “неофициальное именование политиков и первых лиц государства по прозвищам само по себе не является свидетельством жаргонизации, это обычная речевая практика, принятая и в других странах” (Какорина Е.В. Отражение социальной дифференциации русского языка в современной прессе // Публицистика и информация в современном обществе. М., 2000. С. 30). Но эти авторы фиксируют лишь внешние новации, не указывая на причины, их породившие.

А основные причины языковых изменений в новейшем газетном языке кроются не столько в психологической реакции журналистов на бесцветный “новояз” предшествующей эпохи, сколько в политической реальности современного российского общества. Разрушив устойчивое семантическое поле советской газеты с его четкой биполярностью “свое” (социалистическое) / “чужое” (капиталистическое), мы оказались в пространстве информационных войн, ведущихся “на своей территории” различными по идеологической ориентации российскими изданиями, в пространстве предвыборных баталий политиков. И антропонимика стала мощным оружием, механизмом для достижения успеха в предвыборной гонке. Не случайно современные исследо-

ватели отмечают всевозможные трансформации с именами ведущих политиков, а не ученых, актеров, режиссеров, художников, не менее известных российскому обществу.

В терминах политической рекламы наибольшее количество голов на выборах соберет тот кандидат, который сможет себя грамотно позиционировать широкому кругу избирателей, предстать перед ними в наиболее выгодном свете. Еще Н. Макиавелли цинично советовал государю: “Пусть тем, кто видит его и слышит, он предстанет как само милосердие, верность, прямотушение, человечность и благочестие, особенно благочестие. Ибо люди, большей частью, судят по виду, так как увидеть дано всем, а потрогать руками немногим” (Макиавелли Н. Государь. М., 1990. С. 53). Современным же людям не только “потрогать”, но и “увидеть” можно не все, так как политики для нас из реального давно переместились в символический мир. А “в мир символический попадает только то, что следует, что хотят, чтобы слышали слушатели, видели зрители” (Почепцов Г.Г. Спиндоктор, который умеет “лечить” события. М., 1999). И поскольку мы давно уже воспринимаем политиков только через систему средств массовой информации, то, какими нам их представляют журналисты, такими мы их и увидим.

Антропонимика в современной газете является мощным механизмом создания положительного или отрицательного политического портрета. Использование собственного имени в информационных и предвыборных войнах являет собой яркие примеры разрушения исторически сложившихся этических канон.

И первым шагом в этом направлении стала отмена отчеств в именовании государственных и политических деятелей. Сложившаяся традиция допускала использование антропонимического двучлена, состоящего из имени и фамилии, для называния представителей культуры (актеров, музыкантов, художников). И только. Во всех же других случаях такое использование противоречило этическим нормам. Бездумно копируя американизированный тип именования, тиражируя его, журналисты порождают конфликт между этической традицией и новым именовани-ем. Не случайно подобный двучлен закрепился только в публицистике и не прижился в других сферах речевой деятельности. Полное именование, включающее имя, отчество и фамилию, для русского сознания равнозначно проявлению уважения к человеку. И, выбрасывая из именовании политиков отчества, мы вольно или невольно “снижаем” их образ, исключаем из смыслового поля антропонима уважительную интонацию.

Небывалое распространение в современном газетном пространстве получили прозвища ведущих российских политиков, подавляющее большинство из которых являються обидными. Мы как бы вновь вернулись к истокам антропонимики, когда имя собственное заключало в себе определенную характеристику человека.

Исследователь антропоники Е.Н. Полякова делит прозвища на две группы. Первая – прозвища, образованные от фамилий и имен. Вторая – прозвища, данные за какие-нибудь свойства или недостатки: “Добрая половина всех школьных прозвищ возникла на основе фамилий учеников... Чаше всего они не имеют никакой эмоциональной окраски, в них нет ничего особенно обидного или особенно приятного; они нейтральны, почти как имена” (Полякова Е.Н. Из истории русских имен и фамилий. М., 1975. С. 83).

Как видим, прозвища в языке использовались всегда, но в газетном мире преобладают обидные прозвища политиков, построенные на звуковом сходстве с нейтральными фамилиями и несущие определенную отрицательную окраску, соотносимую с определенными фоновыми знаниями российского общества.

А поскольку личность политика для широких масс, можно сказать, виртуальна, имя становится чуть ли не единственной определяющей ее характеристикой. Поэтому журналисты во всех случаях должны видеть за словом человека.



“Веселый грамотей”

Это ежемесячный журнал для любителей русской словесности младшего и среднего школьного возраста. Журнал выпускается в виде детской книжки, главные персонажи которой из номера в номер попадают в забавные ситуации, делая неожиданные открытия и узнавая много новых и важных вещей. Следуя за веселым повествованием, юный читатель легко и незаметно для себя запоминает правила правописания, приобретая навыки грамотности. Цитаты из русской классической литературы углубляют образность и восприятие сюжетов, побуждая ребенка к прочтению произведений этих авторов.

Веселые иллюстрации художника Юрия Крошкина делают издание красочным и привлекательным.

Номера журналов составят познавательную тематическую библиотеку, способствующую изучению русского языка. В дополнение к журналу выпускаются книжки-раскраски, содержащие интересные и познавательные тексты.



Когда было написано “Житие Феодосия Печерского”?

А. Н. УЖАНКОВ

До сих пор не установлено время написания Нестором, иноком Киево-Печерского монастыря, “Жития Феодосия Печерского” (далее – “Житие”). Оно важно не только для восстановления истории написания самого “Жития”, но и для датировки предшествовавшего ему “Чтения о Борисе и Глебе”, поскольку в “Житии” Нестор заметил: “Благодарю тя, Владыко мой, Господи Иисусе Христе, яко съподобил мя еси недостойнаго съповедателя быти святым Твоим въгодником, се бо испърва писавъшю ми о житие и о погублении и о чюдесх святою и блаженю страстотръпцю Бориса и Глеба, понудих ся и на другое исповедание приити, еже выше моя силы, ему же и не бех достоин...” (“Житие Феодосия Печерского” // Памятники литературы Древней Руси. XI – начало XII века. М., 1978).

Уточнить время работы преподобного Нестора над “Житием Феодосия Печерского” помогает замечание самого агиографа, помещенное в конце произведения: “Се бо елико же выше о блаженемъ и велицемъ отци нашемъ Феодосии оспытовая слышахъ отъ древнихъ мене отецъ, бывшихъ в то время та же въписахъ азъ грешный Нестор, мнѣи всѣхъ в монастыри блаженаго и отца всѣхъ Феодосия” (Успенский сборник XII – XIII вв. М., 1971).

Эти слова Нестора можно понять так, что он, будучи моложе всех (“мьнии всьех”) по возрасту в монастыре, расспрашивал старших себя (“древньних мене”) отцов-иноков Печерской обители о Феодосии и изложил услышанное. И.И. Срезневский в “Материалах для словаря древнерусского языка” в комментариях к словам *мьнии-мнии-меньшии* дает первым именно значение “младший по возрасту” со следующим примером: “Человек некий име дѣва сына, и рече мьнии сын ею” (Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка. Репринтное издание. М., 1989. Т. 2. Ч. I).

В словах Нестора отчетливо прослеживается сравнение, точнее – противопоставление возраста его самого, записавшего рассказы о Феодосии, и возраста монахов, от которых он эти рассказы слышал.

Если бы Нестор хотел в самоуничижении подчеркнуть свое “низшее” положение в монастыре (и такое значение может иметь слово *мьнии*), то, надо полагать, в этой антитезе в качестве оппозиции к слову *мьнии* использовалось бы слово *старей*. Следует напомнить, что это смысловое значение сохраняется в однокоренном слове *старец*, подразумевающим не просто старого человека (старцем, по Уставу, можно было стать с 33 лет), а стяжавшего Благодать Святого Духа: “Аще кѣто хоцеть старей быти, да будеть всьех мьнии и всем слуга” (“Житие”. Хотя и в такой антитезе сохраняется указание на юный возраст: “Рекшу бо Иосифу к Иакову: на семь отче положи десницу, яко съ старей есть. Отвеща Иаков: веде чядо, веде, ... нѣ брат его мнии болии его будет”. См. Молдован А.М. «“Слово о законе и благодати” Илариона». Киев, 1984). У Нестора же противопоставлялись слова *древньних* – *мьнии*, т.е. в их возрастном значении.

Кстати сказать, Нестор и в “Чтении” использует трижды слово *мьнии* в значении “младший по возрасту”, усиливая его другим – *уней*: “Сий Давыд [христианское имя Глеба. – А.У.] мний [вар. – *меньший*] бе в братьи своеи и уней [вар. – *юнейший*] в дому отца своего” (Абрамович Д.И. Жития святых мучеников Бориса и Глеба и служба им. Пг., 1916). То есть, меньший (младший) среди братьев и самый молодой в доме. Этот пример к слову “мьнии”, но в значении “низший по положению, рангу, достоинствам” приводит “Словарь русского языка XI–XVII вв.” М., 1982. Вып. 9.). Да, если учитывать православный уклад жизни, в котором младший брат должен почитать старших (его продемонстрировал Глеб своей кончиной), то такой семантический оттенок присутствует в слове. Однако в Несторовом тексте говорится, прежде всего, о возрасте Глеба (и всячески подчеркивается его юный возраст), но никак не о его “положении, ранге, достоинствах”: он князь, и у него равный с другими братьями-князьями социальный статус.

В этом пассаже Нестора не может быть иного толкования слова, поскольку очевидно, что он не только говорит о юном возрасте Глеба (“Бе же Глеб велми детеск”. Абрамович. Указ. соч.), но и всячески подчеркивает этот юный возраст святого, сравнивая Глеба с юным Давидом: «Святому же Глебови створено имя Давыд. Видиши ли благодать Божию изъмлада на детищи? Створиша бо, рече, имя ему Давыд: како или кым образом? Не им же ли: он бе мний в братъи своей [т.е. – *младший*. – А.У.], тако же и сий святой. Яко же бо и сам пророк свидетельствует, глаголя: “мний бе в братъи моеи и уней [вар. – *юнейший*] в дому отца моего” и прочее: тако же и сий Давыд мний [вар. – *меньший*] бе в братъи своей и уней в дому отца своего» (там же. Ср. Пс. 151, 1: “Мал бех в братіи моеи и юншіи в дому отца моего”).

Важно здесь отметить, что в украинском языке XIV–XV веков основное значение слова *меньший* было именно как “младший”: “И я есмь поделил ся з братом своим меньшим со князем Семеном Избаразким сам своею волею доброю...” (Словник староукраїнської мови XIV–XV ст. Киев, 1977. Т. I). В современном украинском языке сохранилось только возрастное значение слова *меньший* при характеристике человека: “Менша сестра літ не дійшла” и т.д. (Словарь української мови. Под ред. В.Д. Гринченко. 1908. Т. II). Значит, и в общей практике, и, что для нас важнее, практике Нестора слово *мний* – *меньший* имело возрастное значение. То есть, говоря о себе “аз ... Нестор, мьнии всех в монастыри”, печерский агиограф подчеркивал, прежде всего, свой молодой возраст, но никак не свое “меньшее положение”, ибо чуть ниже сам сообщает о своем чине дьякона. На отстаиваемое толкование смысла фразы указывает еще одна Несторова антитеза из “Жития Феодосия Печерского”, в которой он сравнивает (противопоставляет) себя на сей раз со старейшим Никоном, а не всей братией.

Чуть выше приведенных слов Нестора о себе (в том же столбце по “Успенскому сборнику”) он так говорит о Никоне: “яко же тому [Никону. – А.У.] старейшу соузю всех, се бо и блаженны отец нашъ Феодосій от того роукоу пострижения съподобися”.

Это сравнивающее противопоставление “старейшего всех” игумена Печерского монастыря Никона и “мьнии всех” в монастыре инок Нестора очень заметно.

Сравнение с “великим Никоном”, известным книжником, свидетельствует о честолубии молодого монаха (сомневаюсь, чтобы такое сопоставление допустил уже умудренный на старости лет монах-летописец Нестор, проживший жизнь “не славы ради мира сего”), а не о его полном смирении (автобиографические вкрапления в жития святых угодников Божиих свидетельствуют, в принципе, о том же). Поэтому антитеза и оказалась умышленно растнутой, но все равно очевидной: Нестор рассказал об избрании в игумены старейшего (по воз-

расту!) Никона, а затем поведал и свою историю с поступлением в монастырь. Такое сравнение в духе Нестора. Вспомним, что он первым в древнерусской литературе стал указывать свое имя в агиографических сочинениях, вносить в них автобиографический элемент. А ведь это было нарушением традиций византийской агиографии. Поэтому ничего нет удивительного в том, что молодой Нестор, как он сам признавался, “множьствъмь грехов напълъненъ сыи от уности”, не устоял еще перед одним и подчеркнул свой молодой возраст. Да простится ему этот невеликий грех, помогающий нам установить время работы молодого инокана над “Житием Феодосия Печерского”.

Нестор родился около 1056–57 годов, ибо 17-летним юношей пришел послушником в Печерскую обитель еще при жизни Феодосия, умершего в 1074 году, и вряд ли бы написал после 1108 года, когда ему уже было за 60 лет, а число монахов перевалило за сотню, что он “мъни въсех” – младший по возрасту в монастыре.

Есть и еще одно свидетельство Нестора и оно, пожалуй, самое главное в датировке обоих его житий 80-ми годами.

Как известно, помимо “Жития” Феодосия Печерского Нестор написал и еще одно сочинение, связанное с его именем, – “Слово Нестора, мниха манастиря Печеръскаго, о пренесении мощемъ святаго преподобнаго отца нашего Феодосия Печеръскаго”.

Поскольку Нестор непосредственно участвовал в этом событии и описал его по свежим впечатлениям, ни у кого из ученых не вызывает сомнения время появления этого небольшого “Слова” – вскоре после самого события, произошедшего, как указано в тексте, 12 августа 1091 года, за три дня до праздника Успения Пресвятой Богородицы – покровительницы монастыря.

Совершенно очевидно, что если бы Нестор написал “Житие Феодосия Печерского” после 1091 года, а тем более после 1108 года, как полагал С.А. Бугославский и считает А.Г. Кузьмин (Бугославский С.А. К вопросу о характере и объеме литературной деятельности преп. Нестора // ИОРЯС, 1914. Т. 19. Кн. I; Кузьмин А.Г. Начальные этапы древнерусского летописания. М., 1977), то обязательно включил бы в “Житие” и описание перенесения новооткрытых мощей преподобного Феодосия, как он это сделал в случае с обретением мощей святых Бориса и Глеба во времена Ярослава Мудрого и перенесением их уже его сыновьями в 1072 году. Наоборот же, отдельное существование “Слова о перенесении мощей”, на наш взгляд, может свидетельствовать о более позднем его написании относительно “Жития” и как самостоятельного дополнения к нему. На такое его независимое положение указывает и место “Слова” в “Киево-Печерском патерике, где оно следует сразу за “Житием Феодосия Печерского”, но не объединено с ним.

Об этом свидетельствует и очевидная вставка в “Слово”, носящая черты летописного сообщения: “В лето 6616 Феоктисть игумень нача понужати благовернаго великаго князя Святополка с мольбою, да поминають имя святого и преподобнаго отца нашего Феодосиа, игумена печерьскаго, в синонике. Богу тако извольшу. Святополк же рад бывъ, обещася сътворити <...> Еже и сътвори митрополить, повеле въписать в синодикъ. Митрополить же повеле всемъ епископомъ въписать имя святого Феодосиа в синодикъ. Все же епископи с радостию въписаха имя святого преподобнаго отца нашего Феодосиа, и поминають его на всехъ съборехъ...” (ПЛДР. XII век. М., 1980. Ср. с замечкой в “Повести временныхъ летъ”: “В лето 6616 <...> В семъ же лете вложи Богъ в сердце Феоктисту, игумену печерьскому, и нача възвещати князю Святополку, дабы въписать Феодосья в сенаник. И радъ бывъ, обещася и створи, повеле митрополиту въписать в синодик. И повеле въписывати по всемъ епископьямъ, и вси же епископи с радостию въписаха, и поминати и на всехъ зборехъ”. ПЛДР. XI – начало XII века). Это важное для прославления святого событие произошло в 1108 году.

Из “Слова” очевидно, что местное почитание преподобнаго Феодосиа началось вскоре по его кончине. Обретение мощей святого в 1091 году и установление их в Успенском соборе монастыря для почитания прямо свидетельствуют об этом. Церковное прославление святого без службы невозможно. Поскольку торжественное перенесение мощей произошло 14 августа (“и тако праздноваша светло тѣй день”), в канун праздника Успения Пресвятой Богородицы, а не в сам праздник – в полном соответствии с церковным Уставом – это значит, что 14 августа на литургии была отслужена уже специальная служба святому (См. разбор аналогичной ситуации с перенесением мощей и освящением церкви в канун двенадцатаго праздника: Ужанков А.Н. Из лекций по истории русской литературы XI – первой трети XVIII вв. “Слово о Законе и Благодати”. М., 1999). То есть, в 1091 году уже существовала служба преподобному Феодосию Печерскому. Но как свидетельствует церковная практика, а история канонизации святых Бориса и Глеба это подтверждает (Ужанков А.Н. К вопросу о времени написания “Сказания” и “Чтения” о Борисе и Глебе // Герменевтика древнерусской литературы XI–XIV вв. Сб. 5. М., 1992; Антонова Е.В. Службы свв. Борису и Глебу в книжности Древней Руси. Дисс. канд. фил. н. М., 1997), службу святому обязательно дополняет его житие, ибо оно, согласно церковному Уставу, должно читаться в этот день. Значит необходимость в житии преподобнаго Феодосиа была уже в 1091 году (а ко времени включения в синодик – тем более!). Об этом, кажется, и “проговаривается” автор вставки: “Святополк же радъ бывъ, обещася сътворити, съведый же житие его [зная его жизнь или

познакомившись с его житием? – А.У.], и нача Святополк поведати всемь житие преподобнаго Феодосиа”.

В “Житии Феодосия Печерского” сообщается о закладке Феодосием и Антонием в 1073 году Успенского собора в Печерском монастыре, который был достроен уже Стефаном в 1078 году, но “Житие” не сообщает, как верно заметил еще А.А. Шахматов, о его освящении (Шахматов А.А. Повесть временных лет. Пгр., 1916. Т. I). Известно, что собор долго не освящали, и это произошло только в 1089 году при митрополите Иоанне II. Стало быть, “Житие” было написано до этого знаменательного и для монастыря, и для Феодосия события, ибо в “Слове на перенесение мощей”, датированном 1091 годом, сообщается, что мощи преподобного Феодосия были положены в Успенском соборе, то есть он уже был освящен.

Следует обратить внимание и на одну весьма примечательную черту преподобного Нестора: в каждом своем последующем произведении он упоминает предыдущее. В “Житии Феодосия Печерского” он сообщил, что прежде написал “Чтение о свв. Борисе и Глебе”, а в “Слове на перенесение мощей” он упоминает “Житие Феодосия Печерского”: “Досточудный же именитый Стефан, яже прежде реченый в житии блаженнаго, иже бысть в него место игумень...” (ПЛДР, XII в.).

Из этой ремарки Нестора совершенно очевидна связь и хронологическая последовательность двух его сочинений: первоначального “Жития Феодосия Печерского” и следовавшего за ним “Слова на перенесение мощей”. Если “Слово” создано после описанных в нем событий (что ни у кого не вызывает сомнений) и знает о существовании “Жития”, то, стало быть, “Житие” не могло быть написано после “Слова”. Если же учесть, что оба произведения Нестора не содержат сообщения о кончине епископа Стефана 27.04.1094 года (в своих творениях Нестор постоянно вспоминает преемника Феодосия на его игуменском посту, принявшего будущего агиографа в монастырь и постригшего в монахи после послушничества, причем в обоих житиях приводит полный послужной список Стефана), то логично заключить, что они были написаны до этого печального события. Но поскольку в “Житии Феодосия Печерского” Нестор не описал торжеств 12–14 ав

густа 1091 года по обретению и перенесению мощей преподобного, а создал специальное “Слово”, то это значит, что “Житие Феодосия Печерского” было написано до 1091 года.

Таким образом, есть все основания полагать, что “Житие Феодосия Печерского” было написано не только до включения его имени в общерусский синодик в 1108 году, но даже до 1091 года – обретения его мощей и написания службы святому.



*В № 6 за 2001 год редакция опубликовала часть из магистерской диссертации протоиерея **А.М. Державина**, посвященную работе Святителя Димитрия Ростовского над 1-й книгой Четиих-Миней. В этом номере предлагаем вашему вниманию фрагмент из диссертации об окончании труда над последними книгами Четиих-Миней Святителя Димитрия.*



Димитрий Ростовский

Работа над второю книгою начата была и долгое время шла только с теми источниками, какие можно было найти в Лавре и на юго-западе. Далеко ли она продвинулась до осени 1689 года – неизвестно, но неимение руководящего источника, с одной стороны, а с другой, – пережитые волнения и тревоги, наверное, оказывали сильное и неблагоприятное влияние на ее успешность и часто принуждали Святителя откладывать в сторону свой труд. Созная, что и теперь, после возвращения из Москвы, работа без Макарьевских Четиих-Миней не может идти успешно, Святитель старается получить их из Москвы {...}

Между тем, в церковной жизни Киева произошли важные и знаменательные события. В апреле (1690 года) в пятую неделю святого Великого поста преставился преосвященный митрополит Киевский Гедеон Святополк, и на его место собором украинского духовенства избран был архимандрит Киево-Печерской Лавры Варлаам Ясинский. В конце июля Варлаам отправился в Москву и здесь 31 августа принял посвящение от вновь избранного и поставленного на Московское патриаршество митрополита Казанского Адриана. Святитель Димитрий

отметил эти события в своем Диарии, и они, действительно, имели важное значение как для него самого, так и для его дела. Новый патриарх не был ярким противником латинской партии. Вследствие этого можно было ожидать, что он примет более живое участие в труде Святителя Димитрия и, насколько возможно, поможет ему довести составление житий святых до конца. Что касается Варлаама Ясинского, то он и в сане архимандрита много заботился о написании и издании Четиих-Миней, а теперь мог, конечно, еще более помочь успешному окончанию этого дела (...)

Патриарх Андриан исполнил просьбу Святителя Димитрия и вскоре выслал ему Макарьевские Чети-Миней. Между тем, у Святителя работа над составлением житий продолжалась, и его слова в письме к патриарху, что он готов трудиться “нощенственно”, не были простой фразой. Чтобы оградить себя от всяких помех, он еще 10 февраля того же, 1690 года оставил настоятельские покои в монастыре и “начал жить в скиту пустыни, возле церкви свят. Николая Крупицкого”. В скиту он трудился более года, но, очевидно, и это место не давало ему полного покоя. Поэтому в октябре следующего, 1691 года Святитель Димитрий приказывает соорудить для себя в пустыни особую келью “для спокойнейшего”, как сам говорит, “списания житий святых”. Келья была окончена постройкою 15 октября, а 18-го освящена. Святитель тогда же “начал жить в ней во имя Господне”, а в феврале 1692 года снова оставил игуменство в Батуринском монастыре, чтобы, не отвлекаясь ничем, продолжать взятое на себя дело.

Проработав с таким тщанием весь 1691 и 1692 годы, Святитель к началу 1693 года успел закончить вторую книгу Четиих-Миней. Оставалось сделать в ней некоторые поправки и затем печатать, но в начале 1693 года случилось событие, которое помешало этому и на долгое время задержало выход в свет второй части Четиих-Миней. “В Великом посту, – пишет Святитель Димитрий в Диарии, – привезены ко мне из Гданска книги Болланда о житиях святых”. Это было знаменитое Антверпенское издание [Acta Sanctorum] ученых иезуитов, высланное в Киев в количестве 18 томов за первые, начиная с января, пять месяцев года. Богатство заключающегося в Актах агиологического материала, основательные к житиям святых введения и комментарии, широкая начитанность издателей и их свобода от узкой вероисповедной точки зрения не могли не привлечь внимания Святителя Димитрия. Хотя вторая книга житий святых, как мы уже сказали, была совсем готова к печати, однако Святитель не захотел теперь выпускать ее и решил сначала дополнить новым материалом из только что присланного источника...

“В том же году (т.е. в 1693-м), – пишет Святитель в Диарии, – по воскресении Христовом выбираюсь из пустыни в Киев, в типогра-

фию. Боже, помози!” Заметка написана 1 мая. Очевидно, как ни хотелось Святителю Димитрию подольше поработать над второю книгою с новым, только что полученным источником, долг перед Лаврой и обществом, которое давно уже ждало выхода из печати второй книги, заставил его покинуть свою тихую келью и ехать в Киев. 9 мая Святитель прибыл туда и представил лаврским властям свою работу. Вероятно, тогда же он объяснил, что ему необходимо дополнить ее по новому источнику, и просил на это время. В Лавре решили так: печатать пока жития за месяц декабрь, которые не могли быть исправлены по Acta Sanctorum, а остальные два месяца – январь и февраль – сдать Святителю Димитрию для дополнения и исправления. Святитель остался в Лавре и здесь продолжал работу, а месяц декабрь отправлен был на просмотр Варлааму Ясинскому, которому это дело поручено было патриархом Адрианом...

Чтение Варлаамом Ясинским декабрьских житий святых и составление для второй книги предварительных статей заняло более месяца, так что Лаврская типография только с 10 июля могла приступить к ее набору и печатанию. “Июля 10-го, – отмечает Святитель в Диарии, – в день памяти Антония Печерского, начал печатать месяц декабрь”. Два другие месяца, очевидно, еще были у него на исправлении. Святитель не торопился отдавать их в типографию и, оставаясь в Лавре, продолжал дополнять и исправлять их по Acta Sanctorum. В этой работе прошел весь 1693 год (...)

Окончательное исправление января и февраля завершено было им, вероятно, не ранее июня 1694 года. В этом месяце, именно “в Петров пост”, он назначен был игуменом в Глуховский святых апостолов Петра и Павла монастырь и оставил Лавру. Таким образом, исправление и дополнение второй книги по Acta Sanctorum задержало окончание печатания книги почти на целый год. Оно началось, вероятно, вскоре после отъезда Святителя Димитрия в Глухов, а закончилось в начале 1695 года. Итак, эта книга составлялась и печаталась в продолжение семи лет, на два года более первой книги. Причина этого лежала, однако, не в Святителе Димитрии; он и теперь работал с прежним усердием и самозабвением. Переселение в скит, затем в особую уединенную келью и, наконец, удаление от игуменства наглядно доказывают это. Задержали выход книги те неблагоприятные внешние обстоятельства, которые Святитель Димитрий пережил в начале работы над ней, да желание исправить и дополнить ее по новому источнику.

Тотчас же после выхода из типографии вторая книга Четиих-Миней послана была в Москву с нарочито отправленными туда печерскими иноками для подношения царям и патриарху Адриану. Кроме книги, лаврские иноки привезли патриарху письма от митрополита Варлаама Ясинского, от гетмана Ивана Мазепы и от архимандрита Лавры

Мелетия Вуяховича с братиею. Все они, извещая о выходе книги, просили патриарха “милостивне, любовне и неотвратно” принять ее, “трудолюбивым исправлением и писанием пречестнаго отца Димитрия” составленную, благословить Лавру продавать ее, а “трудолюбивому отцу игумену Димитрию” преподавать архипастырское благословение на продолжение труда и выслать ему “для вящшаго исправления” своих житий “на время три следующие книги Четиих-Миней блаженнаго митрополита Макария”.

Святитель Димитрий как только получил вторую книгу Четиих-Миней из печати, тоже немедленно отправил ее, даже переплетенную “за скорость времени”, патриарху через “особыя свои посланники”. В письме, которое приложено было к книге, замечательна просьба Святителя Димитрия о том, чтобы патриарх особой грамотой поручил Варлааму Ясинскому прочитывать и исправлять составленные Димитрием Четиих-Миней. Видно, это участие митрополита Варлаама было ценно и необходимо для скромного и неуверенного в себе писателя житий святых. Как человек прекрасно образованный и побывавший за границей, Варлаам Ясинский был необходимым дополнением к трудолюбивому, но, конечно, не так начитанному и знакомому с иностранной литературой Димитрию (...)

После выхода из печати третья книга Четиих-Миней, подобно первой и второй, была отправлена в Москву для подношения царю и патриарху (...)

Окончив третью книгу Четиих-Миней и сдав ее в печать, Святитель Димитрий не сразу принялся за продолжение своего труда. Несмотря на то глубокое уважение, каким пользовались его Четиих-Миней среди ученых людей на юго-западе, Святитель понимал, что “послушание свое, врученное ему Малороссийской церковью”, он выполняет только отчасти. По его разумению, написанные им книги должны были быть народными книгами, т.е. их должен был ежедневно читать всякий желающий, не только свободный от тяжелого труда, но и занятый им, а этого-то как раз и не было. По своей обширности и дороговизне изданные Лаврой Четиих-Миней недоступны были для бедных поселян и неудобны для чтения людям, обремененным работою. Скорбя об этом и желая приблизить свой труд к простому народу, Святитель после окончания третьей части Четиих-Миней и задумал составить особую “книжицу, да и убогий удобнее может ю себе стяжати и житийскими попечениями объятый без труда может коегождо дне настоящих святых прочести”. На эту мысль, вероятно, навело Святителя существование подобных кратких сборников житий святых у католиков. Один из них был и в библиотеке Святителя Димитрия (...)

По указу царя Петра I Святитель Димитрий в 1701 году вызван был в Москву и 23 марта, в неделю Крестопоклонную, поставлен во архиереи в Сибирь...

Посвященный в Сибирские митрополиты 23 марта 1701 года, Святитель Димитрий не мог тотчас же отправиться к месту своего нового служения. Стояла ранняя весна, дороги для поездки были трудны, и добраться по ним до далекой Сибири не было никакой возможности. Приходилось дожидаться более удобного времени, и Святитель Димитрий остался в Москве. Он жил в Чудовом монастыре, где находилось Сибирское подворье, и, совершая очередное служение, неутомимо поучал народ. В конце апреля дороги просохли, и можно бы было отправиться в путь, но царь Петр не дал разрешения на выезд и приказал Святителю дожидаться, пока он, царь, находившийся тогда в Воронеже, возвратится в Москву. Отъезд в Сибирь опять был отложен, а летом Святитель Димитрий захворал {...}

Болезнь затянулась до осени. О ней доведено было до сведения царя, и, по одним источникам, Петр сам посетил недомогающего архимандрита и в беседе с ним узнал главную причину болезни, по другим, Святитель представил царю письменное объяснение, что по слабости здоровья едва ли он пригоден для Tobольской епархии, да и встретит там затруднения к окончанию своих Четиих-Миней. В результате этих сношений с царем Святителю дозволено было остаться в Москве, и он освобожден был от Сибирской епархии. Туда послали другого воспитанника Киевской коллегии – Филофея Лещинского, а Святителя Димитрия перевели в Ростов, на место умершего Ростовского митрополита Иоасафа Лазаревича. Постановление об этом сделано было 4 января 1702 года, а 1 марта того же года, в воскресенье третьей недели Великого поста, митрополит Димитрий уже прибыл в Ростов на свою епархию.

Итак, в этот раз Святитель прожил в Москве с 9 февраля 1701 года до марта 1702 года, т.е. больше года. ...Он особенно близко сошелся со старым своим знакомым, иеромонахом Чудова монастыря Феологом, с Карионом Истоминым и с Феодором Поликарповым. Живя в Ростове, Святитель поддерживал с Феологом оживленную переписку и при каждом удобном случае посылал своим новым знакомым самые дружеские приветствия. Все они были искренними приверженцами просвещения, все горячо любили книжное дело и хорошо знали его положение в тогдашней Москве. Феодор Поликарпов состоял директором Московского печатного двора, Феолог и Карион Истомин исполняли там же обязанности справщиков. Образование все трое получили греческое, у братьев Лихудов, и в свое время считались знатоками не только греческого, но и латинского языка {...}

Изменилось у Святителя Димитрия под влиянием новых знакомых и отношение к Москве, к ее историческому прошлому и святыням Московского края {...}. Совершая богослужение в московских храмах и участвуя в религиозных торжествах, Святитель узнавал святыни

Москвы, знакомился с ее церковной жизнью и понемногу усваивал взгляды, привычки и убеждения московского народа {...}. В результате всех этих влияний у последнего и образовался новый взгляд на цель и задачи своего труда.

Живя на юге, Святитель смотрел на составление Четиих-Миней как на “послушание, вверенное ему Малороссийскою Церковью”, поэтому в первых книгах старался прежде всего удовлетворить нужды и запросы этой церкви... О малоизвестных святых – а к таковым принадлежали почти все подвижники северо-восточного края – он делал лишь краткое упоминание в месяцеслове...

В Москве рано заметили эту особенность труда Святителя Дмитрия и {...} старались ознакомить Святителя Дмитрия с житиями великороссийских святых. Теперь, когда Святитель переехал на север, воздействие на него новых знакомых в этом направлении, без сомнения, увеличилось, да он и сам, ближе познакомившись с Москвой, ясно увидел, как далеки его Четиих-Миней от полноты, как много пропущено им житий святых, дорогих и близких сердцу великоросса. Как только этот недостаток был осознан, Святитель начал старательно собирать и списывать жития великороссийских святых, чтобы впоследствии дополнить ими свои Четиих-Миней.

Работа в этом направлении начата была, вероятно, в Москве, но с особенной энергией продолжалась в Ростове. Второй после Москвы по обилию святых город северо-восточного края, Ростов глубоко заинтересовал Святителя своей стариной и своими священно-историческими преданиями. Почивающие в нем, святители Леонтий и Исаия, пришельцы с юга, должны были роднить Святителя Дмитрия с новым местом его службы и указывать ему, что в древности не было деления России на великую и малую. Вследствие этого московские впечатления в Ростове должны были еще более углубиться, и новое направление в работе приобрело большую прочность и сознательность. Из переписки Святителя Дмитрия видно, как живо интересовался он ростовской стариной и как старательно собирал те памятники письменности, которые могли осветить для него минувшие судьбы северо-восточного края и в особенности труды и подвиги его духовных просветителей и подвижников {...}

Первоначальная работа над последней частью Четиих-Миней началась, вероятно, еще в Москве, но здесь сделано было немного. Можно думать, что к составлению житий Святитель здесь и не приступал. В Москве поэтому, может быть, выработан был только план и собраны необходимые материалы. Вся остальная работа выполнена была в Ростове среди многосложных и разнообразных дел по управлению обширную епархией...

Святитель болел душой, видя разорение прежде богатого архиерейского дома, сострадал бедствиям духовенства и народа и, сам терпя крайнюю скудость, должен был ограничивать себя во всем. Нельзя без глубокого волнения читать его письма, в которых он просит своих благодетелей прислать ему “чаю невеликое”, потому что “в Ростове несть где взять, а надобно временем”, когда приглашает их в свою “келлию на грибы”, когда сообщает: “Чуть не пешком брожу, – ни коня, ни всадника. Оскудеша овцы от пищи и лошадей нет”. Но если бедность и огорчения угнетали душу, то сырой, нездоровый климат Ростова быстро разрушал тело. Он начал часто прихварывать и в письмах к друзьям жаловался на свое “нездоровое здравие”. Наконец, немало дорогого времени отнимали и поездки в Москву по вызову, на череду служения. За семь лет жизни в Ростове Святитель Димитрий был в Москве три раза: в 1705, 1706 и 1707 годах, причем первое пребывание продолжалось более года.

В таких неблагоприятных, тяжелых условиях приходилось Святителю работать над последнею четвертью Четиих-Миней. Надо только удивляться, когда он находил время для этой работы. Но любовь и сознание долга превозмогли все. Отрываясь от дел по управлению епархией и от приема разных должностных лиц, Святитель отдавал своему заветному труду каждый свободный день, каждый незанятый час. “Днем у тусклого слюдового окна, а ночью при слабом свете сальной свечи” писал он последние месяцы Четии-Миней, забывая о собственном отдыхе и покое. Что-то как-будто побуждало его скорее окончить эту работу. Словно он сознавал, что жить ему осталось уже немного, а дел сделать нужно было еще порядочно. Нужно было собрать материал и дать достаточные чтения на каждый день месяца... Встречались затруднения и другого характера, происходившие от спутанности и неясности Пролога, этого главного пособия при установлении памяти святых. Но дело было уже близко к окончанию, – и 9 февраля 1705 года Святитель завершил свой бессмертный труд.

Он спешит поделиться своей радостью с любимым другом и вскоре после 9 февраля пишет Феологу: “Срадуйтеся мне духовне, яко споспешеством ваших молитв сподобил мне Господь августу месяцу написати аминь и совершити четвертую житий святых книгу, юже послал в Киев, в печать”...

Не одни друзья интересовались книгой. Можно сказать, что вся грамотная Россия с нетерпением ждала окончания Четиих-Миней, и Святитель начал получать просьбы о высылке четвертой книги тотчас же после выхода ее из печати. В 1707 году Святитель удостоился и более торжественного чествования за свой труд. В конце этого года в Ростов был послан из Московской академии префект и учитель философии Стефан Прибылович, который от лица Академии 26 декабря

в Крестовой палате поднес Святителю “дедикованную конклюзию” и говорил похвальную речь. Эта конклюзия, весьма искусно написанная на куске атласа, сохранялась в ризнице Спасо-Иаковлевского Ростовского монастыря. Она написана на латинском языке и украшена рисунками и фигурами, изображением Святого Духа в виде голубя, окруженного по сторонам ангелами и ликом святых угодников. Из этих рисунков и надписей видно, что конклюзия была выражением признательности за составление житий святых. Святитель называется здесь отцом, патроном и особенно благодетелем; четыре его книги житий уподобляются четырем Евангелиям...

Книги Четиих-Миней настолько быстро разошлись, что Киево-Печерская лавра почти сразу же начала хлопоты о втором их издании. После окончания Миней Димитрий, в 1707–1709 годах написал небольшую книгу о раскольниках. Он работал над ней до тех пор, пока не почувствовал себя совершенно больным. Недуг быстро подточил его силы и 27 октября 1709 года Святитель Димитрий Ростовский закончил свой жизненный путь.

Публикация подготовлена Е.И. Державиной



ИМЯ РУССКОГО ДОКУМЕНТА

А. Н. КАЧАЛКИН,

доктор филологических наук

В развитом документообороте одним из признаков сложившейся нормы языка документа можно считать появление у определенного вида текстов устойчивого имени.

Имя документа формируется и используется как средство для обособления определенного типа делового текста для его рационального функционирования.

Известно, что информация в документе должна быть исчерпывающей, легко воспринимаемой и запоминаемой. Это же условие в еще более высокой степени предъявляется и к имени документа. Умело подобранное название – это как бы минимальный реферат самого текста, отражение и обобщение в краткой формулировке наиболее существенных сторон содержания.

До чтения текста в деталях и подробностях его наименование позволяет оценить замысел документа как целого и избежать ошибок в направленности его смысла. Вместе с тем имя документа дает возможность упоминать о существовании, наличии данного делового текста в другом документе или деле. Именно упоминать о документе, ссылаться на него, а не воспроизводить целиком, как это было, например, в практике русской канцелярии I-й половины XIX века.

До *Генерального регламента* 1720 года не было или не сохранилось предписаний по именованиям документов, и мы вынуждены говорить о существовании в течение почти шести веков самоназваний документов. *Самоназвание* являлось важнейшим элементом документа, одной из определяющих черт его стиля – это как бы извлечение из текста ведущих понятий содержательной и оформляющей частей документа. Употреблением определенного названия автор стремился представить дело как можно объективнее.

Имя документа опирается на ключевые слова текста, преимущественно глаголы, и образует с ними теснейшую семантическую связь; в названиях документов глагольная лексика трансформируется в именную. Вокруг ключевых слов формируется и синтаксис: наиболее регу-

лярные конструкции и структуры. Ключевые слова в названиях документов определяют ключевые понятия деловой жизни определенной эпохи и одновременно являются основой делового словаря своего времени.

В названии получают отражение наиболее существенные признаки жанра. Составное название выполняет роль символа для единого обозначения документа в целом, отражения разных его сторон. Чем больше специфических свойств у документа единого жанра, тем объемнее, “сложнее” его название. *Жанр* есть способ выражения авторского отношения к действительности, к избранному предмету описания – через текст и реализуемый в конкретном самоназвании или наименовании документа. Жанр следует рассматривать как явление типологическое, когда можно говорить об известном единстве делового сюжета (содержания) и композиции (формуляра) между предшествующими и последующими жанровыми формами. В длительном процессе становления документных жанров обнаруживается постоянное взаимодействие исторических и типологических элементов. Названия документов исторически меняются, но более общее отношение высказывания к действительности, сфера функционирования, типовое содержание их в определенной мере типологически неизменны.

Названия – определенный знак вида документа, реализующего жанр. Однако полного тождества между *жанром документа* и *именем документа*, естественно, нет. Понятие *жанра* значительно шире понятия имени. Вместе с тем нематериальный жанр всегда воплощается в материальном имени. В отличие от жанра имя обычно зависит от идеологии общества данного периода его развития, а нередко и напрямую отражает ее.

Жанр сам по себе не имеет имени; имя приобретают конкретные виды документа, реализующие жанр в определенную эпоху. Существуют, например, жанры *приказа*, *договора*, *просьбы* и под. Однако нет и не было документа с названием *просьбы*. В разные исторические эпохи жанр *просьбы* получал разные названия, причем они отражали идеологию определенного характерного периода жизни Русского государства.

Эпоха и общество меняются – и это получает отражение не только в содержании и структуре документа, но и в его названии. Новая идеология, новый стиль требуют новых названий. *Просьба* остается, но если в период XIII – начала XVI веков истинным считалось назвать ее *Жалобой*, изложить просьбу в *Жалобнице*, то с середины XVI века это наименование меняется. Реальным становится самодержавие: во главе государства – царь и великий князь Всея Руси, Божий помазанник, первое после Бога лицо в государстве. Если ты желаешь удовлетворения своей просьбы – обозначь величие того, к кому обра-

щаешься с просьбой, покажи свое зависимое положение, низко поклонись ему, “бей челом”. Жанр просьбы остается, но передающий ее вид документа называется в эту эпоху *Челобитная*.

Аналогии в документах проявляются и в собственно канцелярском делопроизводстве разных эпох. Например, если в приказной канцелярии сверху вниз шли *Грамоты царя*, а снизу вверх – *Отписки воевод*, то в министерской канцелярии это были соответственно *Предписания министра* и *Отзывы департамента*.

Жизнь вида можно продлить административными приемами: узаконить его обязательное употребление, жестко потребовать применения именно этого вида в конкретных обстоятельствах, или же, наоборот, отменить функционирование того или иного вида документа. Отмена конкретных видов документа реально приведет к их замене новыми видами в пределах жанров, остающихся неизменными. Образно говоря, смерть вида документа – залог бессмертия его жанра.

Очень подвижной, динамичной в отношении социальных процессов и трансформации прежней документной системы была эпоха конца XVII – начала XIX веков. XIX век потребовал меньше исследовательского внимания – начиная с законов 1810–1811 годов. Именования документов были высочайше утверждены и редко изменялись в течение века.

Словарь И.И. Срезневского “Материалы к словарю древнерусского языка” (СПб., 1893–1912), выполнивший задачу автора “быть... памятником быта и образованности народа”, первым отразил один из существенных показателей культуры общества: факт сложения документной системы. В этом Словаре отражены разнообразные тематические группы русской лексики; при историческом изучении той или иной сферы понятий Словарь является отправным пунктом и зачастую основным источником. Особое значение имеет он для исследования терминологии русского документа, в частности, его названий.

Идя в своей работе от текста к словарю, составляя первоначально словари отдельных памятников, И.И. Срезневский, естественно, не мог пройти мимо таких семантически емких единиц делового текста, как их самоназвания. Он извлек для своего Словаря лексические материалы из 2700 памятников, дал сведения почти о 210 видах и разновидностях русских документов. Только Грамот в нем представлена 61 разновидность: *Беглая*, *Бережельная*, *Береженная*; *Бессудная*, *Ввозная*, *Взметная*, *Воскладная* и другие подобные.

Особое внимание привлекают в Словаре Срезневского названия видов документов (выраженные существительными): *Артикул* “статья, постановление”, *Докончание* “мирный договор”, *Жалоба* “жалоба”, *Кабала* “грамота, письменное долговое обязательство”, *Книга* “письмо, послание” и “послания, грамоты, приказы”, *Лист* “письмо,

грамота”, *Отписка* “записка, доклад”, *Отпись* “запись, грамота”, *Платежница* “писанное условие о платеже”, *Позовница* и *Позывница* “призывная грамота, повестка о явке в суд”, *Позовка* “вызов к суду, повестка о явке в суд”, *Рукописание* “духовное завещание”, *Ряд* и *Рядница* “письменный договор, письменное условие”, *Слово* “письменная речь, письмо, грамота”, *Судница* “письменное определение суда”, *Ярлык* “жалованная грамота татарских ханов”, “договорная грамота” и вообще “грамота, письмо”.

В Словаре Срезневского отражены с иными, не документными значениями слова, впоследствии приобретшие значение документа: *Иск*, *Клятва*, *Наказ*, *Наряд*, *Обыск*, *Послание*, *Привод*, *Приговор*, *Перечень*, *Приказ*, *Присяга*, *Роспись*, *Тетрадь*, *Указ*, *Устав*, *Целование*, *Шерть*, *Явка*.

Словарь А.Л. Дювернуа “Материалы для словаря древнерусского языка” (М., 1894) дополнил “Материалы...” И.И. Срезневского, расширил их хронологические рамки, но вместе с тем использовал сравнительно небольшое количество изданных памятников. Новыми по сравнению со словарем Срезневского жанрами явились *Выпись* “делопроизводственная справка по определенному вопросу из ранних документов”, *Данница* “данная грамота”, *Жалобница* “официальное заявление о противоправных действиях должностного или частного лица с просьбой о защите жалующегося”, *Описка* “текст описывания, переписи владений, земельных угодий, различных вещей и др.”, *Сказка* “составляемый по требованию администрации или суда документ, содержащий известные его автору сведения о деле”, *Смета* “документ, содержащий учетные и расчетные данные”, *Список* “описание, запись сведений о делах, людях, документах”. А.Л. Дювернуа также представил слова, впоследствии приобретшие значение документа: *Десятня*, *Застава*; особенно много среди них слов, обозначающих название действия, акта: *Выбор*, *Доклад*, *Заказ*, *Извет*, *Отбой*, *Отвод*, *Счет*, *Укрепление*, *Явка*.

Словарь Г.Е. Кочина “Материалы для терминологического словаря древней Руси” (М.-Л., 1937), задуманный как терминологический, дал наибольшее число словосочетаний по сравнению с другими историческими словарями. Часть из них была, очевидно, собственно терминами, часть – сочетаниями терминологического характера: *Верящий ярлык*, *Вечная запись*, *Докладные книги*, *Докончальный лист*, *Жалобная запись*, *Записная грамота*, *Ларная грамота*. В этом словаре зафиксировано 109 сочетаний со словом *грамота*: *Выкупная*, *Записная*, *Ларная* и др.

“Словарь русского языка XI–XVII вв.” является наиболее полным историческим словарем. Он пока не закончен, последний его том дает сведения о словах на букву *С*, но в словарной статье *Грамота* упоми-

наются 75 ее разновидностей. Очевидно, авторы словаря более требовательны по сравнению с другими лексикографами к выделению в самостоятельную словарную статью только истинных терминов.

Чем обстоятельнее представлено в словаре развитие и расчленение значений слова, тем конкретнее можно определить, как появилось название того или иного документа. По данным Словаря Срезневского, *Хартия* первоначально обозначало “пергамент, кожу, приготовленную для письма”, впоследствии метонимически возникли значения “письмо, грамота” и “письмо, договор”.

Среди всех исторических словарей стремление наиболее полно представить семантическую структуру слова реализовано в “Словаре русского языка XI–XVII вв.”. Именно в нем наиболее отчетливо видно, как от названий акта, действия в ряде случаев постепенно отделялось название собственно документа, фиксирующего этот акт или действие. Таковы, например: *Выбор* “избрание” и впоследствии “документ об избрании на должность”, *Досмотр* “осмотр, обследование, освидетельствование”, а затем “документ, в котором изложены результаты обследования”, *Записка* “официальное оформление, регистрация чего-либо; составление записи”, а затем “документ с изложением какого-либо дела”. Правда, и цитата в Словаре и другие случаи употребления *Записки* в памятниках позволяют уточнить, на наш взгляд, это значение как “документ удостоверительного или объяснительного содержания, который дается в сопровождение делу или человеку”. Назовем также *Отпуск* “действие по глаголу *отпустить*, разрешить уйти” и “документ об отпуске, увольнении”, а также другие случаи. Полагаем, это значение можно дифференцировать двумя: “документ – удостоверение на право выезда, отлучки” и “документ бывшему крепостному человеку, который отпущен на волю”.

“Словарем русского языка XI–XVII вв.” оказались не отмеченными документные значения у *Ведение*, *Выправка*, *Доклад* и др., прежде означавшие “действие, акт”. Правда, в ряде случаев разграничение действия и сложившегося по этому действию документа вызывает затруднения, особенно если среди памятников не встречались натуральные документы такого названия, а лишь попадалось их упоминание в других текстах. Нам, например, до сих пор не удается выяснить, существовали ли документы с названиями *Завещание*, *Закуп*, *Заповедь*, *Заявка*, *Напоминание*, *Объявка*, *Отказ*, *Определение*, *Опрос*, *Привод*, *Подряд*, *Раздел*, *Развод*, *Уговор*.

Как уже было сказано, функционирование отдельных документов, особенно на раннем этапе их жизни, не всегда устанавливается по натуральным текстам, а нередко лишь по упоминаниям о них в виде названий в других памятниках.

По упоминанию можно предположить, что мы имеем дело уже с самостоятельным документом, если это упоминание и окружающий контекст содержат указание: 1 – на факт письменной фиксации акта, на обозначение словом отдельного текста; 2 – на возможность физической передачи текста, на то, что текст прислан, привезен, принесен, подан в канцелярию; 3 – на воспроизведение ранее сказанного, ссылку на предыдущий текст; 4 – на сочетание слова с названиями других, хорошо известных документов; 5 – на факт нотариальных действий с текстом; 6 – на разные факты канцелярской обработки текста.

Таким образом устанавливается реальное функционирование отдельных документов ранее, чем они представлены в сохранившемся корпусе памятников, например, *Выбор* упоминается как название документа в 1577 году, а подлинный текст самого документа с таким названием сохранился лишь от 1623 года; *Доезд* – упоминается в 1641 году, а натуральный памятник известен от 1687 года; *Привод* – в 1590 и соответственно с 1690. Подобным образом устанавливается время функционирования документов и с иными названиями в виде отглагольных существительных: *Дозор, Доход, Завещание, Излюб, Опрос, Отбой, Приговор, Прошение, Развод, Разъезд, Сыск* и др., но при этом *Выправка, Осмотр, Отказ* в качестве отдельных самостоятельных текстов пока не встречались, а слова *Доклад, Донос, Заявка, Определение, Розыск* и некоторые другие оказались трудными для описания по упоминаниям и контексту их документного значения.

В обследованных нами памятниках русского языка встречаются не отраженные ни одним историческим словарем определения, обозначающие темы *Грамот: Дворовая, Дозорная, Зарядная, Межевальная, Наказная, Нарядная* и иные. Другие определения обозначают способ составления или обращения с документом: *Заручная, Образцовая, Подписная, Посылочная, Прямая, Расписная, Ссылочная, Статейная* и иные *Грамоты*. Третью группу определений образуют названия источника документа: *Архиерейская, Боярская, Воеводская, Игуменская, Мирская, Монастырская, Святительская, Соборная* и другие подобные *Грамоты*.

Обследование новых памятников даст новые названия, наши сведения о русском документе будут постоянно расширяться и отражаться в новых исторических словарях. Однако перечисленные словари долго будут ценны тем, что представляют собой тщательно проведенное, завершённое лексикографическое описание определенного круга памятников в определенный период. Наше исследование о названиях документов стремится поддержать сложившуюся традицию описания и анализа лексических средств русского языка.

К 200-летию “Вестника Европы”

От Карамзина до Каченовского

И. А. АУССЕМ

Январь 1802 года был ознаменован событием, весьма важным для духовной жизни России, – начал выходить общественно-литературный журнал “Вестник Европы”. Значение данного события трудно переоценить: “Вестник Европы” стал первым “толстым” журналом в России (он выходил два раза в месяц). К тому же, это было первое частное издание, содержавшее раздел политики. А редактором издания был Н.М. Карамзин, с деятельностью которого была связана реформа русского литературного языка.

Задумал журнал московский книгопродавец И.В. Попов. Он и пригласил на пост редактора Н.М. Карамзина, к тому времени уже имевшего определенный издательский опыт. Карамзин руководил изданием журнала в течение двух лет (с января 1802 года по декабрь 1803 года), получая за работу три тысячи рублей в год, что само по себе являлось примечательным, так как это был первый случай оплаты редакторского труда в России.

В журналистской практике Н.М. Карамзина уже были “Московский журнал” и альманах “Аглая”, выходившие в 90-е годы. В то время Карамзин резко отрицательно относился к занятиям политикой и утверждал сугубо частный идеал личности. Человек, по представлениям писателя, должен быть далек от жизни государственной, он непременно должен являть собой личность цивилизованную, утонченную, чувствительную. Подобный человек наследует все лучшее из запаса мировой культуры. Общественной жизни он предпочитает круг друзей и мир домашнего очага. Из человеческих чувств он более всего дорожит дружбой, любовью, способностью понимать природу. Такого героя можно было встретить на страницах произведений, опубликованных в “Московском журнале” и альманахе “Аглая”. Оба издания носили чисто литературный характер и были предназначены для образованной публики, следившей за развитием современной литературы и симпатизировавшей сентиментальной школе, главой которой в России, по сути, и являлся Н.М. Карамзин. Произведения, появившиеся на страницах карамзинских изданий, отличались легким, изящным слогом, который сразу же был отмечен образованным читателем с тонким вкусом.

Проблема литературного языка поднималась Карамзиным уже в 90-е годы. Отношение писателя и лингвистическим вопросам остава-

лось прежним и к началу 1800-х годов, но его общественная позиция изменилась.

В самом начале 1800-х годов, которые Пушкин охарактеризовал как “дней александровых прекрасное начало”, Карамзин перестает отвергать занятия политикой и самый интерес к оной. И в политической деятельности, и в государственной власти, от которой он прежде демонстративно отстранялся, Карамзин теперь находит позитивное начало. Так, в государственной власти он видит охранительную, стабилизирующую функцию. В журнале Карамзин будет отражать свою концепцию политического режима России: необходимо всеми мерами способствовать превращению России из деспотии в просвещенную монархию. Этот тип государственного устройства Карамзин считал наиболее соответствующим устоям русской жизни. Российская политика, по его мнению, должна стать просвещенной, и западный опыт в этом плане может быть не только интересен, но и полезен. Карамзин полагал, что Россия должна идти по тому же пути, что и другие народы Европы, что русскому обществу следует приобщиться к европейским культурным ценностям.

В эпоху Просвещения и на ее исходе в философии, в теориях развития искусства весьма важную роль играла идея прогресса. Для Карамзина 90-х годов и периода “Вестника Европы” была характерна непоколебимая вера в прогресс. Здесь он расходился с великим французским философом, моралистом и писателем Ж.-Ж. Руссо, взгляды которого по многим другим вопросам, в том числе в отношении к обществу, природе и человеку, ему были очень близки. Карамзин полагал, что прогресс распространяется благодаря просвещению людей с помощью искусства, которое является средством перевоспитания “злых сердец”. Особая роль в совершенствовании души принадлежит, по его мнению, литературе, причем очень важен язык беллетристики, так как он сообщает благородной идее изящную и доступную форму. Русской литературе еще надо совершенствоваться, для чего она должна быть ближе к действительности.

Чрезвычайно важной проблемой Карамзин считал развитие литературного языка. В своих статьях он утверждал, что русские люди должны “писать, как говорят” и “говорить, как пишут”. С точки зрения Карамзина, письменная речь должна отражать реальную языковую практику (См. об этом Успенский Б.А. Споры о языке в начале XIX века как факт русской культуры // Успенский Б.А. Избранные труды. В 2-х т. Т. 2. М., 1984. С. 340). Эта позиция писателя нашла воплощение на страницах журнала: в статьях Карамзина-редактора, в публикуемых произведениях других авторов. Можно сказать, что вопрос об отношении к языку был главной частью культурно-просветительской программы Карамзина.

“Вестник Европы” состоял из отделов “Литература и смесь” и “Политика”. В последнем помещались статьи и заметки, освещавшие по-

литическую жизнь не только Европы, но и России. В отделе политики Карамзин старался публиковать переводные материалы, но они были подобраны так, что служили выражением и его собственной позиции. Благодаря стараниям Карамзина статьи и сообщения политического отдела отличались не только свежестью и полнотой материала, но и живостью изложения.

Не удивительно, что “Вестник Европы” имел чрезвычайный успех. Необыкновенную популярность журнала В.Г. Белинский объяснял способностью Карамзина как редактора и журналиста “следить за современными политическими событиями и передавать их увлекательно” (Белинский В.Г. Полн. собр. соч. В 13 т. М., 1953–1959. Т. 7. М., 1955. С. 135). Карамзин составлял книжки “Вестника Европы” “умно, ловко и талантливо”, поэтому их “зачитывали до лоскутков” (Там же. Т. 6. С. 459).

“Вестник Европы” вызвал явное оживление общественной мысли в России, пробудив интерес к социально-политическим, культурным и другим вопросам не только в среде образованного сословия. “Он создал в России многочисленный в сравнении с прежним класс читателей. Создал, можно сказать, нечто вроде публики”, – писал В.Г. Белинский (Там же. Т. 9. С. 678). Карамзин даже пытался исследовать интересы и предпочтения читающей публики, причем это внимание привлекала и реакция общества на издательскую деятельность журналистов-предшественников, например, Новикова. Карамзин указывал, что при этом известном просветителе тираж “Московских ведомостей” возрос с 600 до 4000 экземпляров. Из своего анализа Карамзин сделал вывод, отражающий вкусы и запросы читательской аудитории. Как оказалось, дворяне предпочитают читать журналы и пока еще не привыкли к газетам: “Правда, что еще многие дворяне, и даже в хорошем состоянии, не берут газет, но зато купцы, мещане любят уже читать их. Самые бедные люди подписываются, и самые безграмотные желают знать, что пишут из чужих земель” (Вестник Европы. 1802, № 9). Карамзин отмечал заметный интерес к прессе среди простонародья. К началу XIX века этот интерес еще более возрос. В подобном расширении читательской аудитории, несомненно, важную роль сыграл “Вестник Европы”.

Тем не менее, Карамзин испытывал тревогу в связи с тем, что широкой публике в России чужд интерес к науке и литературе, а светским людям по большей части чужды эти занятия (Карамзин Н.М. Отчего в России мало авторских талантов // Вестник Европы. 1802. № 14). Для развития науки и искусства необходимо просвещение общества, в чем важную роль способна сыграть и журналистика. Но, чтобы слово писателя и журналиста нашло путь к читателю, необходим легкий, живой и красивый язык. Подобными качествами отличался язык публикаций “Вестника Европы”.

Как писал В.Г. Белинский, “Карамзин, преобразовав ломоносовскую прозу, приближается к естественной русской речи и прививает к русской литературе элементы изящного французского публицизма” (Белинский В.Г. Указ. соч. Т. 5. С. 650).

В своем издании Карамзин на практике осуществлял собственные лингвистические идеи. Можно сказать, что доступный, яркий и изящный язык привлекал читателей к журналу так же, как и увлекательность содержания материалов.

При подборе литературных произведений для отдела “Литература и смесь” Карамзин так же стремился идти в ногу со временем: в номерах журнала он помещал переводы новинок зарубежной литературы и произведения своих соотечественников. Среди них были Г.Р. Державин, М.М. Херасков, Ю.А. Нелединский-Мелецкий, И.И. Дмитриев, В.Л. Пушкин, В.А. Жуковский. Часто на страницах журнала появлялись и произведения самого Карамзина: “Марфа Посадница, или Покорение Новгорода”, “Рыцарь нашего времени”, “Моя исповедь”, “Чувствительный и холодный, Два характера”.

Многие авторы литературного отдела журнала были близки к сентиментализму. В целом, в его русле развивалось творчество Ю.А. Нелединского-Мелецкого, И.И. Дмитриева, к сентиментализму во многом был близок и молодой Жуковский. Сам Карамзин был признанным главой сентиментальной школы, хотя в некоторых его произведениях явно начинают появляться романтические мотивы, например, в повестях “Остров Борнгольм”, “Сьерра-Морена”. В “Марфе Посаднице” он обращается к исторической проблематике, что отчасти также роднит его с писателями-романтиками.

Авторы литературного отдела позже придут к различным теоретическим взглядам на проблему литературного языка. Но всех их (и будущего “беседчика” Державина, и будущих “арзамасцев” В.Л. Пушкина и Жуковского) роднит простота и естественность слога. К искусственной архаизации речи никто из них не тяготел.

Свою лучшую пору “Вестник Европы” пережил при Карамзине. Это было время, когда журнал наиболее чутко и живо откликался на события внутри страны и за рубежом, реагировал на интересы и требования публики. Несомненно, то был период наибольшей его популярности, и в России XIX века трудно было найти издание, имевшее подобный успех. Карамзин сыграл выдающуюся роль в истории русской журналистики, став родоначальником “настоящего журнала”, обладавшего целым набором признаков: определенным твердым направлением; строгим отбором произведений, учитывающим общее направление издания; разнообразием материалов, их познавательным характером; чувством современности; постоянными отделами и рубриками; чистым литературным языком; умением говорить с читате-

лем “увлекательно, занимательно и живо” (См. об этом: Березина В.Г. Карамзин – журналист // Проблемы журналистики. Вып. 4. Л., 1973. С. 99).

Заметим, что в “Вестнике Европы” не было отдела критики, так как Карамзин в ту пору считал, что строгой критикой можно распускать выбирающих свою дорогу авторов, а это повредит становлению пока еще неокрепшей русской литературы. Отдел критики был в более раннем карамзинском “Московском журнале”. В начале 1800-х годов хорошо поставленный отдел критики был в журнале карамзиниста П.И. Макарова “Московский Меркурий”.

С начала 1804 года Карамзин отходит от редактирования “Вестника Европы”. Но он дал настолько мощный толчок развитию журнала, что тот сохранял какое-то время прежнее направление.

После Карамзина редакторы журнала часто менялись. В 1804 году “Вестник Европы” возглавил писатель-сентименталист П.П. Сумароков. Он не собирался что-либо резко менять в издании, но, тем не менее, отдел политики исчез, в журнале лишь периодически появлялись политические материалы чисто информационного характера, серьезные публицистические и аналитические статьи больше не публиковались. Подбор литераторов остался прежним, не менялось и отношение к проблеме литературного стиля.

В 1805–1807 годах журнал редактировал историк, профессор Московского университета М.Т. Каченовский. Первое время он сохранял принятое Карамзиным направление, восстановил отдел политики. Каченовский вступал в ожесточенную полемику с противниками Карамзина как писателя и журналиста. Но “Вестник Европы” начал меняться даже вопреки желанию нового редактора, заполнявшего номера преимущественно собственными материалами и не обладавшего способностью живо и своевременно реагировать на события за рубежом и внутри страны. Каченовский был добросовестным историком, но не таким талантливым журналистом, как Карамзин. Да и политические воззрения Каченовского не отличались прогрессивностью.

Публикациям Каченовского не были свойственны яркость и изящество. Те несомненные достоинства, которыми обладал журнал при Карамзине, были утрачены. К тому же редактор довольно быстро разошелся с авторами, печатавшимися в “Вестнике Европы” при Карамзине (ссора с И.И. Дмитриевым вызвала даже перепалку в печати. – И.А.). После того как Каченовский резко отрицательно отзывался о карамзинской “Истории Государства Российского”, писатели-карамзинисты отошли от журнала. Литературный отдел “Вестника Европы” также лишился прежней привлекательности. Журнал начал терять былую широкую аудиторию.

В 1808–1810 годах “Вестник Европы” редактировался В.А. Жуковским, в 1810 году – совместно с Каченовским.

При Жуковском литературный отдел снова расцветает, в нем появляются новинки русской литературы. Жуковский привлекает к сотрудничеству писателей-романтиков, публикует многие собственные стихотворения и баллады (баллады Жуковского носили явный романтический характер, а с его переводами бюргеровой “Леноры” связана одна из интереснейших страниц в истории русского романтизма. – И.А.). “Вестник Европы” в целом способствовал утверждению в отечественной литературе нового направления.

В 1811 году редактором журнала вновь становится Каченовский. Для Жуковского время совместной работы с ним оказалось очень тяжелым: взгляды соредакторов не совпадали, а характер Каченовского был очень неуживчивым и резким, и в конце концов Жуковский покинул журнал. Каченовский постепенно все дальше отходил от того направления, которое журнал имел при Карамзине.

Ярким эпизодом в жизни литературного отдела журнала стал 1814 год, когда в связи с болезнью Каченовского пост редактора временно занял переводчик и беллетрист В.В. Измайлов. При нем дебютировал в печати лицеист Пушкин своим стихотворением “К другу стихотворцу”, были опубликованы и произведения других лицеистов, например, Пущина и Дельвига. При Измайлове состоялся и литературный дебют Грибоедова. В журнале были напечатаны две его корреспонденции – “Письмо из Брест-Литовска к издателю” и “О кавалерийских резервах” (№№ 15 и 22 за 1814 год).

Вернувшийся на пост редактора Каченовский все более враждебно относился к современной литературе, активно выступал против писателей-романтиков, например, критиковал “мистицизм” Жуковского. Совершенно не принял Каченовский писателей молодого поколения. В “Вестнике Европы” появился крайне неприятный отзыв о “Руслане и Людмиле”. Поэма была уподоблена “гостью с бородою, в армяке, в лаптях, вторгшемуся в Московское благородное собрание” (Вестник Европы. 1820. № 11). На страницах журнала были напечатаны отрицательные отзывы и на “южные” поэмы Пушкина. Сам Каченовский в начале 20-х годов призывал “изучивать древних классиков” и “не тратить время на подражание модным виршам, которых достоинство еще не доказано критикой” (Вестник Европы. 1821. № 6. С. 119). По своим вкусам Каченовский тяготел к литературе XVIII века. Вместе с тем, надо отдать ему должное как редактору: именно он начал знакомить русского читателя с творчеством Вальтера Скотта, даже сам перевел “Поэму последнего барда”, поместил в журнале свои прозаические переводы поэм Байрона, регулярно печатал заметки о творчестве поэта.

В 1816–1830 гг. “Вестник Европы” становится совершенно консервативным изданием как в социально-политическом, так и в эстетиче-

ском плане. Новинки русской литературы там не только не появлялись, но подвергались агрессивной критике (например, произведения Грибоедова, Пушкина, поэтов-декабристов, писателей, приверженных к романтическому направлению). Сам язык журнала стал сухим, совершенно лишился той живости и яркости, какими блистал при Карамзине и Жуковском. К 1830 году журнал практически растерял своих читателей и прекратил существование.

Очень точно судьбу издания охарактеризовал В.Г. Белинский: «“Вестник Европы”, вышедши из-под редакции Карамзина, только под кратковременным заведованием Жуковского напоминал о своем прежнем достоинстве. Затем он становился все суше, скучнее и пустее, наконец, сделался просто сборником статей, без направления, без мысли, и потерял совершенно свой журнальный характер.... В начале двадцатых годов “Вестник Европы” был идеалом мертвенности, сухости, скуки и какой-то старческой заплесневелости» (Белинский В.Г. Указ. соч. Т. 9. С. 683).

В истории журнала стоит отметить одну очень интересную коллизию, отражающую культурную ситуацию в России того времени. Еще в 1803 году “Вестник Европы” и его первый редактор оказались в центре литературно-языковой полемики, развернувшейся в связи с открытым выступлением противников реформы Карамзина. В 1803 году вышел трактат А.С. Шишкова “Рассуждения о старом и новом слоге”. Позже, когда Н.М. Карамзин уже покинул пост редактора, состоялась постановка комедии А.А. Шаховского “Новый Стерн” (1805 г.). И в трактате, и в комедии содержались откровенные нападки на Карамзина как писателя-сентименталиста. Еще большим нападкам подверглись язык и литературный стиль писателя, осуществляемая им реформа литературного языка. Завязалась борьба между “карамзинистами” и “шишковистами”. Впрочем, сам Карамзин участия в ней не принимал: получив должность придворного историографа, он полностью погрузился в работу над “Историей Государства Российского”.

В 1804 году под редакцией П.П. Сумарокова “Вестник Европы” остается верным прежнему направлению. В 1805–1807 годах, в свой первый период работы в журнале, Каченовский воспринимал себя как преемника Карамзина и вступал в ожесточенную полемику с его противниками. Затем, считая, что журнал должен объективно отражать ситуацию, Каченовский предоставляет слово А.С. Шишкову. В статье “Ответ” (Вестник Европы. 1807. № 24) Шишков возражал своим оппонентам, главным образом, карамзинисту П.И. Макарову, редактору “Московского Меркурия”. Еще раньше (в № 8) в журнале было опубликовано “Письмо из города NN в столицу” за подписью Луки Говорова, в котором выражалась полная поддержка взглядов А.С. Шишкова. В дискуссии о “старом” и “новом” слоге Каченовскому явно была ближе позиция “архаистов”.

Чем дальше, тем больше Каченовский выражал свои симпатии к “старому” слогу и, по сути, переходил на антикарамзинские позиции. В 1811 году, в период обострения полемики, он выступил в “Вестнике Европы” (№№ 12, 13) с подробным анализом “Разговоров о словесности” А.С. Шишкова. Каченовский в целом поддержал концепцию главы “Беседы”. Разногласия между ними свелись к вопросам чисто лингвистического характера.

Каченовский утверждал, что русский язык – самостоятельный, в то время как Шишков полагал, что русский – стилистический вариант старославянского языка. Каченовский писал, что церковнославянский язык и язык светской и деловой письменности, которым пользовались на Руси, – родственные, но, тем не менее, разные, а “нынешний церковный наш язык есть старинное сербское наречие” (Вестник Европы. 1816. № 19/20. С. 957). С точки зрения Каченовского, “древний коренной славянский язык нам неизвестен” (Там же). Кстати, в этом вопросе мнения Каченовского и Карамзина совпадали.

Но, за исключением отдельных языковедческих вопросов, позиции Каченовского и Шишкова были очень близки. По Шишкову, современная культура отражала деградацию исконной славянской ментальности, а современный язык – деградацию древнего самобытного языка. С его точки зрения, заимствования из других языков засоряют русский язык и им надо противостоять, для новых же реалий необходимо конструировать слова из славянских лексем. При всей искусственности и нереализуемости концепции Шишкова в ней были и вполне закономерные опасения членов “Беседы”, связанные со злоупотреблением иноязычными словами, засоряющими язык, и забота о сохранении самостоятельности русского языка и русской культуры. Недаром именно идея самобытности русской культуры привлекла к Шишкову таких талантливых литераторов, как Державин, Крылов, Грибоедов, Катенин, некоторых поэтов-декабристов.

В целом же концепция Шишкова была обращена в прошлое и отличалась абсолютной утопичностью (См.: Успенский Б.А. Указ. соч. С. 339). Ориентированность Каченовского на культуру и язык прошлого, неприятие современной культуры в целом и современной литературы в частности обернулись для журнала крайним консерватизмом и ограниченностью.

Отношение к проблеме литературного языка оказалось весьма показательным, за различными языковыми концепциями стояло в корне различное понимание культурного развития страны. При Карамзине, приверженном в начале 1800-х годов к идее прогресса общества, необходимости развития литературы и языка, “Вестник Европы” пережил период расцвета. При Каченовском, отошедшем от карамзинских заветов и пришедшем, по сути, к противоположным принципам, журнал потерял актуальность и постепенно угас.



Путешествие по православному календарю с Иваном Шмелевым

*М.С. БЕРСЕНЕВА,
кандидат педагогических наук*

Рождество

Невозможно понять страну и ее народ, не имея представления об их религиозных верованиях. Многие обычаи и культурные традиции связаны с религией, которая веками определяла исторические судьбы и типы мышления, нравственные понятия и календарный круг. Попробуем проследить церковный годовой цикл наиболее значимых христианских праздников по произведению И.С. Шмелева (1873–1950) “Лето Господне”.

В литературоведении и лингвокультурологии к произведениям Ивана Шмелева в последнее время стали применять определения: *православно окрашенные тексты* и *религиозно ориентированные тексты*. Тема исторической и родовой памяти во многом объединяет этих авторов.

Каким бы ни был сюжет поздних произведений И.С. Шмелева, все события, поступки героев он оценивал с христианской точки зрения, с позиции православного человека. Его “Лето Господне” и “Богомолье” переносят читателя в атмосферу православной Москвы конца XIX века.

Отправимся же в путешествие по православному календарю, но нарушив предложенную писателем последовательность праздничного цикла, начнем с *Рождества*: “Наше Рождество подходит издалека, тихо. Глубокие снега, морозы крепче. Увидишь, что мороженных свиней подвозят, – скоро и Рождество ...

А мороз такой, что воздух мерзнет. Инеем стоит, туманно, дымно. И тянутся обозы – к Рождеству...

Морозная Россия, а ... тепло!..

Пахнет натертыми полами, мастикой, елкой. Лампы не горят, а все лампадки. Печки трещат-пылают. Тихий свет, святой...

Волхвов приючайте,
Святое встречайте,
Пришло Рождество,
Начинаем торжество!
С нами Звезда идет,
Молитву пост...”

Рождество Христово – один из главных христианских праздников и считается вторым по значению праздником после Пасхи. Еще во II веке христиане не знали праздника Рождества Христова, справляли лишь зимний январский праздник “явления и крещения Христа”. С середины IV века христианская церковь видоизменила празднование “великого бога Солнца”, превратив его в Рождество Христово. Первыми начали отмечать его христианские общины Рима. В X веке вместе с христианством праздник стал распространяться и на Руси, где он слился с зимним древнеславянским праздником в честь духов предков (святками), пережитки которого сохранились в “святочных” обрядах (ряженные, гадания) до наших дней.

Точная дата Рождества Христова в Евангелии не указана, поэтому еще в первые века христианства Церковь приурочила этот день ко времени зимнего солнцестояния, что символизирует победу света над тьмой.

Рождеству предшествует сорокадневный пост, его последний день, канун Рождества, – *сочельник* (*сочевник*) – день особо строгого поста, когда до вечерней звезды питаться положено *сочивом* – размоченными хлебными зернами: “Шесть недель постились, ели рыбу. Кто побогаче – белугу, осетрину, судачка, наважку; победней – селедку, сомовину, леща... У нас, в России, всякой рыбы много. Зато на Рождество –

свинину, все. В мясных, бывало, до потолка навалят, словно бревна, – мороженые свиньи. Окорока обрублены, к засолу. Так и лежат, рядами, – разводы розовые видно, снежком запорошило...

В Сочельник, под Рождество, – бывало, до звезды не ели. Кутью варили, из пшеницы, с медом; взвар – из чернослива, груши, шепталы... Ставили под образа, на сено. Почему?... А будто – дар Христу. Ну... будто, Он на сене, в яслях. Бывало, ждешь звезды, протрешь все стекла. На стеклах лед, с мороза. Вот, брат, красота-то!..”

Со времен Петра I в России постепенно утвердился обычай наряжать на Рождество елку, увенчанную звездой – символом Вифлеемской Звезды: “Перед Рождеством, дня за три, на рынках, на площадях, – лес елок. А какие елки! Этого добра в России сколько хочешь”. С изображением звезды было принято ходить от дома к дому, распевая *колядки* – песни, славящие Христа и Его Рождество.

На Рождество обычно совершается ночное богослужение, помогающее заново пережить события той давней ночи. Светлое праздничное настроение глубоко западало в душу верующего человека и отражалось во многих произведениях литературы, изобразительного искусства, музыки.

В “Лете Господнем” И.С. Шмелева главная идея: Христос в центре жизни. И как бы пышно, цветасто ни рисовал автор православные праздники, русскую кухню, которую он знал и любил, – все подчинено главному – “все для Него, везде Он”: “Ко всенощной. Валенки наденешь, тулупчик из барана, шапку, башлычок, – мороз и не щиплет. Выйдешь – певучий звон. И звезды. Калитку тронешь, – так и осыплет треском. Мороз! Снег синий, крепкий, попискивает тонко-тонко. По улице сугробы, горы. В окошках розовые огоньки лампадок. А воздух... – синий, серебрится пылью, дымный, звездный. Сады дымятся. Березы – белые виденья. Спят в них галки. Огненные дымы столбами, высоко, до звезд. Звездный звон, певучий, – плывет, не молкнет; сонный, звон-чудо, звон-виденье, славит Бога в вышних, – Рождество”.

Каждый праздник Шмелев изображал как бы в трех пространственных точках: в Москве, в церкви, в семье (что не раз отмечалось критикой). Праздничному времени соответствует праздничность пространства дома и мира вокруг него. Концепция единства времени и пространства отражена в кольцевом обрамлении текста. Она символизирует вечное временное движение по кругу: цикл праздников и обрядов, увиденных глазами ребенка, отражает авторское восприятие бесконечности жизни: так было до нас и так будет.

Пространство в восприятии И.С. Шмелева – это и мир природы, и мир человека-созерцателя. Оба они одушевлены и, в понимании автора, неотделимы друг от друга, одинаково значимы для человека и связаны с идеей вечности.

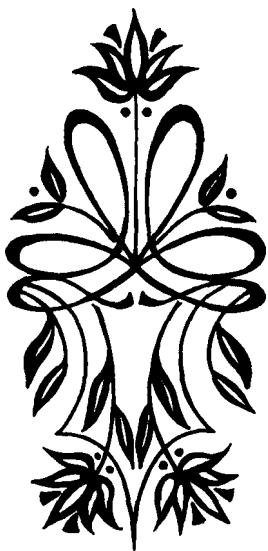
Особенностью главы “Рождество” является то, что избранный автором в других главах прием – повествование от лица ребенка – уступает здесь место повествователю – взрослому человеку. Здесь адресант – это сам писатель, а адресат – и маленький Ив (Ив Жантийом – крестник И.С. Шмелева), и все мы, читатели. Глава строится по принципу противопоставления: “здесь и сейчас”, в Париже, и “тогда”, в Москве, в России: “Здесь он (снег) – редко, выпадет и стаял. А у нас, повалит, – свету, бывало, не видать, дня три”.

В описании И.С. Шмелевым Рождества сквозит особая лирическая и в то же время торжественная интонация: “Идешь из церкви. Все – другое. Снег – святой. И звезды – святые, новые, рождественские звезды. Рождество!”

Традицию встречи Рождества в старой России дополним описанием Борисом Зайцевым: «Рождество у Вернадских происходило по точному ритуалу: на первый день являлись священники, пели “Рождество твое, Христе Божий наш”; Наталья Григорьевна кормила их окороком, угощала наливками, мадерами... Потом приезжали с бесконечными визитами разные дамы..., ели торты. Весь день приходили поздравлять с черного хода. Наталья Григорьевна заранее наменивала мелочи...

Профессор (...) длинно рассказывал, глотая кофе, что обычай празднования Рождества восходит к глубокой древности, дохристианской. Его прообраз можно найти в римских Сатурналиях, где также дарили друг другу свечи, орехи, игрушки» (“Голубая звезда”).

Новый год, Рождество, Святки – любимые праздники нашего народа. Удивительный лирик прозы Б.К. Зайцев, находясь вдалеке от Родины, писал: “Есть во встрече Нового года всегда нечто волнующее, – и острое, и горькое – некий памятник уходящей жизни, открывающей горизонт новой. Подводишь счет ранам, радостям. Ждешь новых, и ясней, чем когда-либо, ощущаешь таинственный, печальный и радостный полет времени...”



Из истории термина *имя*

И. А. КОРОЛЕВА,
доктор филологических наук

Трудно переоценить роль личного имени в жизни каждого человека. Это своеобразная “визитная карточка”, которая появляется при рождении и предъявляется миллионы раз. Как отметил еще известный собиратель личных имен XIX века М.Я. Морошкин, “личные имена имеют важность и значение не только как материал языка, но и как памятник воззрений, понятий и представлений народных, и в них нередко отражается характер и дух народа лучше всех других исторических памятников” (Славянский именослов, или Собрание славянских личных имен в алфавитном порядке. СПб., 1867).

Применительно к лицу *имя* обозначает “личное название человека, даваемое ему при рождении” (Словарь русского языка. В 4 т. М., 1981. Т. I). Это первое и главное значение лежит в основе понятийного содержания составного антропонимического термина *личное имя*, который определяет основную антропонимическую категорию: “личными именами называются слова, которые присваиваются при рождении людям и под которыми они известны в обществе” (Чичагов В.К. История русских имен, отчеств и фамилий. М., 1959).

Слово *имя* известно уже первым памятникам письменности, в которых оно представлено с несколькими значениями 1. Имя человека: “Так же бе и другиы брат именем Еремия” (Новгородская 4 летопись. Повесть временных лет. 1074 г.); “Нарече имя ему Всеволод” (Лаврентьевская летопись. Повесть временных лет. 1024 г.) и др. 2. Название (географическое, этническое и т.п.): “И приде ко месту Немецкому именем Серце” (Ипатьевская летопись. 1246 г.); “На реце имянем Марава” (Лаврентьевская летопись. Повесть временных лет. 1048 г.) и др. 3. Именованье человека в целом: “Воевода именем Сбыслав Якуновичь Новгородец” (Суздальская летопись. 1263 г.) и т.д. 4. Громкое имя, слава: “И кѣто бо тѣгда не придетъ в умиление, видя естъство свое в гроб съходящъ, и имя его угасше” (Изборник Святослава. 1076 г.) и др.

Первые три значения реализовывались в текстах всех жанров, а последнее – “громкое имя, слава” – было свойственно лишь книжно-славянским источникам.

Для названия человека слово *имя* часто использовалось в составе сложных образований, которые можно уже считать прообразом современных терминов – *крестильное, крещеное, крестное имя*: “Нарекоша имя во святѣм крещении Полагея, а княже Сбыслава” (Ипатьевская летопись. Повесть временных лет. 1179 г.); “Бе бо имя ему мирское Чернь” (Там же. 1074 г.); “...а княжее имя ему Володимир (Там же. 1192 г.) и т.д.

Именно разные обозначения в памятниках письменности имен, бытовавших на Руси до принятия христианства (мирские, русские и др.), и имен, пришедших на Русь после принятия христианства (в крещении), послужили причиной неупорядоченности современной терминологии. В настоящее время в исследованиях встречаются разные обозначения: для старых имен используются термины *нехристианское, неканоническое, некрестильное имя, мирское, бытовое, русское имя* и некоторые другие, для новых имен – *христианское, каноническое, крестильное, крестное имя* и прочие.

На наш взгляд, наиболее соответствуют понятийному содержанию термины *крестильное* и *некрестильное имя*.

До XVI веков синонимы для слова *имя* в значении “имя человека” немногочисленны и встречаются редко: это слово *именование* в книжно-славянских текстах, например, “Не приучай клятве уст своих и именованием с(вя)того не обвыкнися” (Пандекты Антиоха Воскресенского Новоиерусалимского монастыря. XI в.) – и слово *прозвище* в летописях, например: “Преставися великаа княгини... прозвище ей бысть литовское Августа, а во святѣм крещении Анастасиа” (Никоновская летопись. 1345 г.).

Итак, в древнерусском языке в значении “имя человека” в основном использовалось слово *имя* (общеславянское индоевропейского характера), имевшее место также и в других славянских языках: украинское *ім'я*, белорусское *ім'я*, болгарское *име*, сербохорватское *имѐ*, македонское *име*, словацкое *meno*, словенское *imè*, польское *imię*, чешское *jméno*, праславянское **jьmę*, латинское *pōmen* (Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1964–1973. Т. II). О возникновении достаточно широкого круга синонимов и об изменении в семантической структуре слова можно говорить, имея в виду только период XVI–XVIII веков, то есть время формирования лексических норм национального русского литературного языка.

Судя по материалам Картотеки Словаря русского языка XI–XVII веков, в XVI–XVII веках слово *имя* в значении “имя человека” несколько снижает свою активность. Возможно, это объясняется тем, что крестильные имена, пришедшие на Русь, уже адаптировались в русской антропонимической системе, и употребление своеобразного уточняющего конкретизатора стало излишним. Некрестильные же имена к концу XVII века практически уже вышли из обихода, и поэтому слово *имя* в сочетании с такими именованиями встречается в памятниках письменности весьма редко. Зато чаще слово *имя* стало использоваться в деловых текстах со значением “полное именование человека, включающее в себя все компоненты структурной формулы”: “И он, государь, нам сказал, что с ним словом приказу нет никакого, а именем сказался зовут его Семеном Олексеев Русин” (Польские дела. 1562 г.). В.К. Чичагов писал, что в XVI–XVII вв. слово *имя* в юго-западной письменности чаще употреблялось не в значении “имя”, а в значении “имя, именование вообще”. Исследователь считал это значение региональным.

Появляются у слова *имя* и новые значения: “чин, звание” (1663 г.); “имя существительное” (грамматическое. 1619 г.).

Опираясь на материалы довольно разнообразных и многочисленных источников XVI–XVII веков, можно с уверенностью сказать, что именно в этот период слово *имя* в значении “личное имя” приобрело широкий круг синонимов. В книжно-славянских текстах встречается *именование*: “Аще бы въпрашает тя, глаголя: что есть патриархово именование, отвещай” (Из литературных памятников XVI в., собранных В.Г. Дружининым. СПб., 1909). Для обозначения имен, которые сохранялись втайне, в различных источниках использовалось *рекло* (обычно в форме *пореклому*): “Инок свят пореклому Алексей” (Житие Сергия Обнорского. XVI в.); “Алекса Михайлович по реклу же Вечеслав” (Книга степенная. Ч. I. 1560-е гг.) и др.

В деловой письменности в значении “личное имя” засвидетельствовано *назвище*: “Назвище ему Василей, а прозванья не упомянуть”

(Смоленский исторический музей, запись смоленского рейтара Скобеева о взятии денег. 1674 г.). Изредка в деловой письменности как синоним слову *имя* “название человека” встречается *прозвище*: “Чернец, по прозвищу Яков, соловарь, ведомый плут” (Челобитные соловецкого монастыря. Т. III. 1666 г.). Гораздо чаще *прозвище* отмечено со значениями “фамилия” или “дополнительное именование человека”.

Как региональный синоним к рассматриваемому значению слова *имя* в смоленских памятниках письменности XVII века встречается *имение*: “А жену ево... с тремя детками подговорил и вывел к себе того села Биберова смоленского шляхтича Александра Селишкова крестьянин Сараматный а имением не ведом и выдал замуж” (Смоленский исторический музей, челобитная смоленского шляхтича Герасима Петуха. XVII в.). Слово *именье* “имя” в Этимологическом словаре славянских языков представлено как белорусское диалектное, а известно, что смоленские говоры близки белорусским (Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. М., 1986. Вып. 8).

Слово *имя* отмечают все лексиконы и словари XVII–XVIII веков. В Лексиконе П. Берынды оно представлено со значениями “личное имя”, “название”, “слава, достоинство” (Лексикон славенороссийский и имен толкование. Киев, 1627). В Лексиконе Э. Вейсмана лексема *имя* представлена в синонимических рядах со словами *название*, *наименование*, *нарицание*, *именование* и имеет латинскую параллель *pōten* (Немецко-латинский и русский лексикон купно с первыми началами русского языка. СПб., 1731). Это подтверждает в какой-то мере и широкую синонимичность слова *имя*, и его не всегда дифференцированную семантику, о которой мы уже говорили. Как синонимы засвидетельствованы слова *имя*, *название*, *наименование*, *именование* в Лексиконе Ф. Гелтергофа (Российский Лексикон по алфавиту, с немецким и латинским переводом. М., 1778).

В первом издании Словаря Академии Российской отдельно представлены слова *имя* “название всякого лица, вещи”, *название* “наименование, название кого именем”, “имя, которое кто имеет, носит”, *именование* “название, нарицание именем” (Словарь Академии Российской. СПб., 1791. Т. III).

Как видим, в первом толковом словаре смешиваются понятия “имя человека” и “название вещи”. Во втором издании словарная статья со словом *имя* несколько упорядочена: первым и главным значением определяется “название лица (родовое имя, собственное имя, имя при крещении нареченное, переменить имя, дать имя, назвать по имени)” (Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. СПб., 1809. Т. II).

Подробно рассмотрено слово *имя* в Словаре В.И. Даля. Толкование его дается через синонимы, но четко определено, что главным является значение, указывающее на лицо: “*название, наименование, слово, которым зовут, обозначают личность. Имя предмета, название; имя животного, кличка; имя человека, собственно имя, по угоднику, ангельское, крестное и рекло, которое встарь не оглашалось, <...> прозвище, данное в семье или народом в прибавку к родовому <...>. Рекло давалось по святцам, а имя по обычаю, нередко языческое <...> именовать, давать имя; называть, звать по имени; означать людей или вещи поименно, по названью <...> Именованье ср. название, <...> т.е. имя*” (Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1956. Т. II).

В настоящее время *имя* в антропонимике главным имеет значение “личное название человека, даваемое ему при рождении”. Но имеются и другие значения, например, “обозначение всего наименования в целом”: “Имя его было Акакий Акакиевич” (Гоголь. Шинель); “Пожилая дама носила имя княгини Друбецкой” (Л.Н. Толстой. Война и мир); “Имя его знает весь мир – Александр Сергеевич Пушкин” и т.п., “название”: “Он дал имя этой речке – и считал его законным” (Рабочий путь. Смоленск. 1998. Сент.); “известность, популярность, слава”: “Блажен, кто молча был поэт / И, терном славы не увитый, / Презренной чернию забытый, / Без имени покинул свет! (Пушкин. Разговор книгопродавца с поэтом); “Грамматическая категория слов”: имя существительное и др.

Для того, чтобы точнее указать, что речь идет об именовании лица, обычно используется составной термин *личное имя*. Ведь словом *имя*, как видим, могут обозначаться названия предметов, явлений, понятий.

Слово *именование*, всегда бывшее книжным, сейчас устарело: именно с такой пометой оно и представлено в Большом толковом академическом словаре в значении “действие глагола именовать, то есть давать имя, название” (Словарь современного русского литературного языка. М., 1956. Т. 5). Хотя следует сказать, что *именование* достаточно часто встречается в антропонимических трудах в словосочетаниях *именование человека, структура именования лица* и др.

За словом *название* закрепилось главное значение “словесное обозначение предмета, явления, понятия и т.п.”. Как оттенок отмечается значение “имя, прозвище, кличка”, которое, на наш взгляд, уже стало устаревшим, так как в словарях подтверждается лишь цитатами из произведений первой половины XIX века: “*Она звалась Варюшею. Но я Желал другое бы ей дать название.*” Лермонтов. Сашка” (Словарь русского языка. Т. II).

Слово *наименование* в этом же толковом словаре дано как синоним к слову *название*. В антропонимических работах слово *наимено-*

вание встречается как синоним слову *именование* и в тех же словосочетаниях.

Вообще ушло из языка *рекло*, слово *назвище* стало диалектным. У Даля оно представлено со значениями “имя, название” как северное, южное (воронежское, курское), а “прозвище, продразнище” как бытующее в средней полосе России (Даль. Т. II). В настоящее время ареал его еще более сужен – оно так же уходит из языка, как и *рекло* (Словарь русских народных говоров. Л., 1983. Вып. 19). Устаревшим и просторечным стало слово *прозвание* в значении “имя, именование” (Словарь русского языка. Т. III). Слово *прозвище* в настоящее время однозначно – это “название, данное человеку в шутку, в насмешку и т.п.” (Там же).

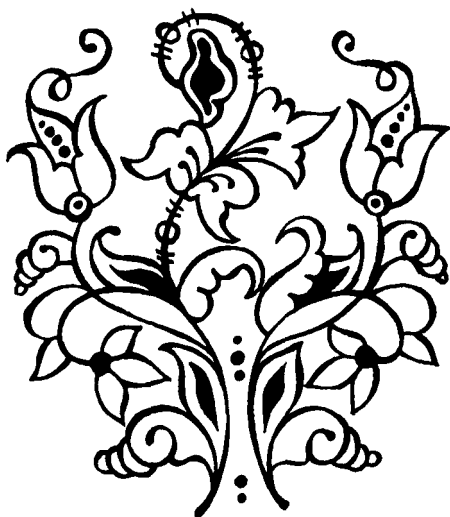
Итак, на протяжении десятивековой истории своего существования в памятниках письменности *имя* претерпело много изменений: сначала приобрело, а потом заметно сузило круг синонимов, развило новые значения, утратило некоторые старые, засвидетельствованные в древнерусском языке, упорядочило свою семантическую структуру путем дифференциации некоторых ранее контаминированных значений, вошло в состав некоторых сложных терминов. Однако главное “приобретение” – это четкое закрепление значения “личное имя человека”, ставшее основным.

Имя скажи мне, каким и отец твой и мать и другие
В граде твоём и отечестве милом тебя величают.
Между живущих людей безымянным никто не бывает
Вовсе; в минуту рожденья каждый и низкий и знатный
Имя свое от родителей в сладостный дар получает.

Одиссея. Песнь VIII. Перевод В. Жуковского.

Смоленск

Топонимика

**Брусна и Каменка**

Ю. Ю. ГОРДОВА

Топонимия Среднего Поочья тесно связана с топонимией других регионов. Ареальные связи некоторых среднеокских топонимов, прежде всего гидронимов раннеславянского типа, уводят к территориям первичного расселения славян, это дает исследователям основание полагать, что именно оттуда они попали на Среднюю Оку.

К раннеславянскому топонимическому пласту относятся, в частности, названия, восходящие к топооснове *Brus-. Данная топооснова на топонимическом пространстве Среднего Поочья проявляет себя довольно активно. Многочисленные и разнообразно оформленные примеры названий зафиксированы Г.П. Смолицкой в "Гидронимии бассейна Оки" (М., 1976): *Брусна, Брусена, Брусенка, Брусянка, Брусовка, Брусенок, Брусенское* и т.д.

По разряду большинство из них относится к гидронимии. Известны и ойконимы. В структурном отношении они, как правило, идентичны гидронимам, но, скорее всего, являются вторичными образованиями. Вокруг гидронимов в ряде случаев формируется гнездо вторичных именований. Так, рядом с Брусеной локализуются три одноименных

микротопонима: *Брусенской/ая* (2 отвершка и вершина; Смолицкая. Указ. соч.).

На страницы письменных документов первые наименования рассматриваемой группы попадают только в XVI веке: речка Брусенка упоминается в одной из рязанских отказных грамот (Памятники русской письменности XV–XVI вв.: Рязанский край. / Под ред. С.И. Коткова. М., 1978). Формы топонимов на протяжении столетий, как правило, не менялись, или менялись незначительно (например, *Брусена–Брусенка*; Смолицкая. Указ. соч.).

Картина расположения носителей топоосновы на топонимическом пространстве Поочья достаточно полно представлена в работе Ю.П. Чумаковой “Расселение славян в Среднем (Рязанском) Поочье, по лингвистическим и историческим данным” (Уфа, 1992). По сведениям Ю.П. Чумаковой, концентрация названий особенно высока в верхней части Окского Правобережья, на Среднем Левобережье – до устья Москвы-реки, в нижнем течении Оки. Добавим только, что представителей данной группы можно найти на территориях, переходных от Окского бассейна к верховьям Дона, на юге современной Рязанской области, куда они попали, скорее всего, “поднявшись” по правому притоку Оки – Проне, и далее по притокам Прони – Ранове и Верде.

Анализируя ареальные связи среднеокских топонимов, Ю.П. Чумакова приходит к выводу, что они “ведут к территории более раннего расселения славян – к бассейнам рек Днепра, Вислы, Дуная”, где известна целая группа гидронимов с той же основой; а география распространения однокоренных названий свидетельствует о праславянском источнике топоосновы *Brus-, а также ее относящегося к прилагательным варианта *Brusъl-. В пользу раннего характера основы говорит и разнообразие структурных вариантов названий, наличие гнезд вторичных наименований.

Этимологию названий связывают с апеллятивами группы *brus-. Такие существительные известны во многих славянских языках со значением “камень”, “точильный камень”, “брусок”, “обтесанное дерево, бревно” (Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. М., 1974–1997; далее – ЭССЯ).

С семантикой географических терминов лексемы от *brus- не сохранились, во всяком случае в ЭССЯ и Словаре русских народных говоров (Л., 1965–1992. Вып. 1–27; далее – СРНГ) подобных примеров не зафиксировано. Но, по всей вероятности, они существовали: об этом говорят топонимические материалы и предполагаемая первичная семантика апеллятивов – “каменистое, скалистое место”, “река с каменистым дном или скалистыми берегами” (Чумакова. Указ. соч.).

Однако длительная история и широкая география топонимов от *Brus- не исключает возможности сдвигов их апеллятивных значений. В местной географической терминологии существительные могли приобретать иные смысловые оттенки, что было спровоцировано, прежде всего, новыми экстралингвистическими условиями, с которыми сталкивались славянские колонисты в процессе освоения других территорий. Традиционные географические термины славян, отражающие природные особенности области их первичного расселения, в зонах с равнинным рельефом постепенно изменяли, “сглаживали” свой смысл, “приспосабливались” тем самым к обозначению иных, хоть и близких, географических реалий. Процесс этот проходил успешно благодаря заложенному семантическому потенциалу и гибкости лексических единиц.

В результате такого смыслового “приспособления” существительное *брусна*, служившее в Поднепровье для обозначения рек с каменистым дном или скалистыми берегами, активно использовалось и в топонимии территорий с равнинным ландшафтом (в данном случае в окском регионе). Здесь оно могло применяться при номинации водных объектов, в частности, с отложениями известняка, или просто с высокими, крутыми и обрывистыми (а не скалистыми) берегами.

В одном из путеводителей по Рязанской области находим описание реки Брусны, протекающей под Рязанью. В ряду наиболее характерных признаков данного туристического объекта указано, что берега реки обрывисты (На Земле Рязанской. М., 1979). Не исключено, что именно этот признак послужил основным мотивом номинации реки, а использование при этом существительного *брусна* стало возможным благодаря наличию в арсенале его значений нужного образа.

Топонимическими дублетами названий типа *Брусна*, *Брусена* могут считаться именованья, восходящие к топооснове *Камен-. Данная основа также считается достаточно древней. Ее возводят к праславянскому *кату, имеющему индоевропейские корни (ЭССЯ).

Существительные и образованные от них топонимы *Камень*, *Каменец*, *Каменица*, *Каменище*, *Каменный*, *Каменка* (ЭССЯ) широко известны на всем пространстве славянского мира. Топооснова активна и в топонимии Среднего Поочья. Уже в рязанских писцовых книгах XVI века она зафиксирована в названиях: *Каменка*, *Каменец*, *Каменное*, *Каменица* (Писцовые книги Рязанского края XVI в. / Под ред. В.Н. Сторожева. Рязань [Репринт], 1990. Т. I. Вып. 1).

Смысл существительных с *камен-* так или иначе связан с обозначением каменистого места или, если речь идет о гидронимах, рек с каменистым дном. И в этом отношении названия данной группы могут быть сближены с названиями от *Brus-. Но, в отличие от последних, мотивировка имен от *Камен- сохранена и она находит непосред-

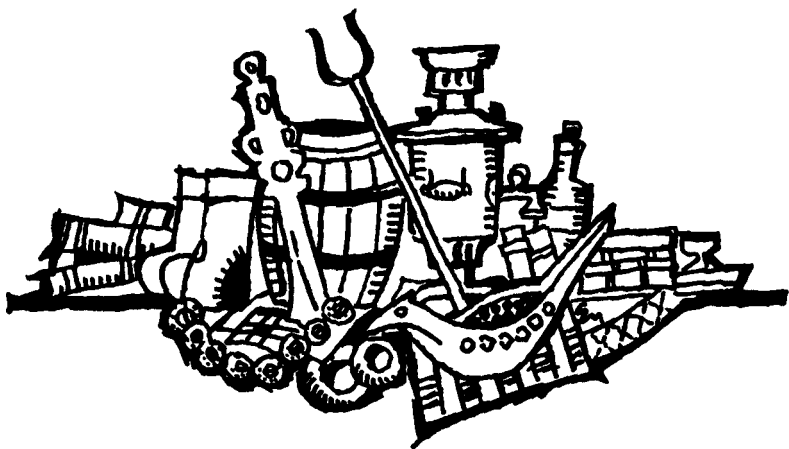
венное подтверждение в собственно географических характеристиках носителей данных имен. В качестве примера – перекаат *Каменка*, на реке Оке, названный так потому, что река в этом месте течет по каменной плите и ее поток здесь становится бурным и стремительным.

Интересно, что вследствие утраты мотивированности названий от **Brus-* и сохранения прозрачности названий от **Камен-* синонимичные топонимы часто локализируются рядом. Так, в ближайшем топонимическом окружении Брусны, а именно среди ее правых притоков, находим: овраг *Каменный*, ржавец (болото, ручей, источник с ржавой водой) *Каменица*, отвершек *Каменищевский* (Смолицкая. Указ. соч.).

Соседство двух корней-дублетов обнаруживается и в ономастическом сочетании *Бруснянский камень* – так в XIX веке называли тальковый сланец, добываемый около села Брусняны в Свердловской области. Сланец вывозили оттуда во многие города России (СРНГ). По всей видимости, именно с залежами этой каменной породы связано происхождение ойконима (а возможно, и существовавшего некогда гидронима), который после затемнения апеллятивной семантики сам стал использоваться в именовании добываемого камня.

Отметим, что названия с прозрачной топоосновой *Камен-* составляют в современной топонимике исследуемого региона более многочисленную группу. Возможно, это связано с тем, что формирование основного массива топонимии рассматриваемого ареала происходило в то время, когда апеллятивы с *камен-* по-прежнему находились в активе местной географической лексики, а апеллятивы от *брус-* уже вышли из активного употребления. В связи с этим названия типа *Брусна*, *Брусена* в топонимии рязанского региона могут быть отнесены к определенному временному пласту. По всей видимости, их появление в Среднем Поочье связано с началом славянской колонизации данного региона и формирования здесь славянского топонимического пространства. Точки расположения на этом пространстве названий группы **Brus-* могут служить указателями направления движения славянских потоков, а следовательно, и славянской языковой и ономастической культуры по окским артериям.

Названия типа *Каменка*, *Каменец*, *Каменица*, несмотря на древность исходной основы, не могут быть отнесены к какому-либо определенному хронологическому слою, так как данная топооснова до сих пор находится в активе средств топонимического словообразования, в отличие от топоосновы **Brus-*, которая уже давно составляет его архаичный фонд.



“Позову я в гости гостя...”

М. А. БОБУНОВА,
кандидат филологических наук
И. С. КЛИМАС,
кандидат филологических наук

Слово *гость* в истории русского литературного языка всегда было многозначным. По данным исторических словарей, гостем называли посетителя, купца, торговавшего в разных городах и чужих странах, члена высшей привилегированной корпорации купцов в Московском государстве. В современном русском литературном языке значение “купец” признается устаревшим, а слово *гость* обозначает того, кто навещает, посещает кого-либо, а также постороннее лицо, приглашенное или допущенное на какое-либо собрание, заседание (МАС. Т. 1. С. 339).

В народных песнях и былинах гость – достаточно распространенный персонаж. Кого же называют гостем в русском фольклоре?

И в северных песнях из сводов А.И. Соболевского и П.В. Киреевского, и в былинах, записанных А.Ф. Гильфердингом, гость – это “посетитель, человек, пришедший по зову или незванный, навестить другого, ради пира, досуга, беседы” (См.: В.И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка).

Песенными гостями чаще всего бывают близкие родственники – батюшка (тятенька), матушка, брат, “шурья-братья”:

Назову я дорогих гостей:
Дорогого гостя батюшку,
Дорогую гостью матушку

(Песни, собранные П.В. Киреевским. Новая серия. Вып. II. Ч. 1. М., 1917. Далее – *Киреевский*).

В гости тоже отправляются преимущественно в родной дом, если лирическая героиня – замужняя женщина и живет в семье мужа:

Морянина стала в гости звать:
Морянин, морянин, пойдем в гости!
Уж ты к теще, а я к матери,
Ты к шурьям, а я к родным братьям! (*Киреевский*)

В эпическом тексте гость, как правило, – чужой человек. Лишь в отдельных случаях этим словом называют родственников:

Ко мне-ка-ва едет ведь дальний гость,
Дальний гость еде любимый тесть.
Еще тот же король Политовский.

(Онежские былины, записанные А.Ф. Гильфердингом летом 1871 года. Далее *Гильфердинг*).

Гость может сравниваться, но не отождествляться с братом: У тя гость в гостях, да быдто брат родной (*Гильфердинг*)

А у слова *братья* в сопряжении *дружья – братья – гости* выявляется не прямое, а переносное значение:

– А й вы дружья братья гости любящи.

– А й вы сходите-тко да проведайте,

– А й где находится там старой казак Илья Муромец? (*Гильфердинг*)

Былинный гость – это, как правило, гость на пиру:

Во стольном городе во Киеве
У ласкового князя у Владимира
Были званы браны гости приходящи
На почетный пир. (*Гильфердинг*)

Гостей зазывают, принимают, для них собирают, заводят пир; гостя берут под руки, сажают за стол, веселят и угощают:

Еще все ли у нас гости едят и пьют,
Еще все приходящи хлеб соль кушают,
А белую лебедь сидя рушают. (*Гильфердинг*)

Другой нередко упоминаемый в песенных текстах гость – это милый друг, любимый, который, как правило, приходит к незамужней девушке:

Созову я гостя, гостя дорогого,
Гостя дорогого – милого своего.

(Великорусские народные песни/Изд. проф. А.И. Соболевским. Т. II. СПб., 1895. Т. III. СПб., 1897. Далее – *Соболевский*).

Наварю молода зелена вина.
Позову в гости дружка милого. (*Киреевский*)

Иногда в гости ходит сама любимая девушка, что становится радостным событием для ее друга:

Не беда заря-день-день в окошечко взошла, –
Ко мне Машенька сама в гости пришла. (*Соболевский*)

Тот, кто ходит в гости, не случайный знакомый, а связанный с героиней любовным чувством:

Стал мил оставлять любовь,
К иной в гости гулять. (*Киреевский*)

Расставаясь с девушкой, милый перестает быть и ее гостем:

Ты не жги свечу да воску яраго,
Ты не жди, не жди гостя милого!..
Я не гость пришел, да не гостить к тебе,
Я пришел к тебе, радость, проститися.
За любовь твою да поклонится. (*Соболевский*)

В многочисленных вариантах данного песенного сюжета понятия *гость* и *дружок* взаимозаменяемы.

Молодец ходит в гости с гостинцами. *Гостинец* – “принос, подарок, приношение, особенно от близкого человека, с которым водишь хлеб – соль” (Даль. Т. I. С. 387). В северных песнях отмечены *гостинечки* и *гостинчики*:

Молодец ко девушке ходил,
Он не толь ходил, гостинечки носил,
Гостинечки сладки, прянички на меду. (*Киреевский*)

В былинах милый друг в качестве *гостя* встречается лишь в одном сюжете о Чуриле (Добрыне):

Во славном городе во Киеве
Жил старой Пермят Васильевич
Имел жену Катерину Микуличну.
Приезжал к ней гость любимый
Добрыня Микитинич. (*Гильфердинг*)

Чурила, щеголь, красавец, приходит в дом старого купца и, пока тот в церкви, забавляется с его женой. И если для героини Чурила – любимый гость, то девкой-служанкой (чернавкой, поваренкой, дворовой девкой) такой “сердечный друг” воспринимается как немилый, не-любимый, незваный, неожиданный гость в доме замужней женщины:

Есть у тебя дома не милый гость
Занимается с Катериной Микуличной. (*Гильфердинг*)

В некоторых песенных контекстах слово *гость* употреблено в переносном значении, отмеченном В.И. Далем: “Гостями зовут, ради шутки или вежливости, недобрых людей, незваных посетителей, воров, особенно грабителей по Волге” (Даль. Т. I. С. 386). В одной из новгородских песен повествуется о сестрах, которые позвали свою воровскую шайку к “дядюшке Перифилу” и срубили ему голову:

Будьте вы, воры, готовы!
Садитесь на добрых на коней,
Поедмте к дядюшке в гости...,

а “тетушке Нениле” и “сестре Степаниде” пригрозили:

Ты живи, бабушка, подоле,
Копи злата – серебра поболе!
Уж мы к тебе в гости будем,
Будем, будем, будем, не забудем! (*Киреевский*)

В вариантах другой распространенной песни балладного типа о признании “вдовой” давно исчезнувшего мужа говорится о “незваных гостях”, которые, по-видимому, являются разбойниками (хотя, правда, иногда *большой гость* может быть назван “офицером”, а его войско – “солдатами”, “казаками”):

На то гости не взирали:
Воротечка отломали,
Силой гости ворвались,

Все в избушку собралися,
Испоселись все по лавкам,
А большой гость под окошко. (*Киреевский*)

Что касается социального статуса фольклорного персонажа, именуемого гостем, то в бытине это, как правило, “иноземный или иногородний купец, живущий и торгующий не там, где приписан” (Даль. Т. I. С. 386).

Надо заметить, что в большинстве случаев значение существительного определяется из минимального контекста. Так, определения *дорогой, милый, любимый, любезный, баженный* (милый, желанный, дорогой, ласковое обращение) используются для реализации значений “посетитель” и “милый друг”, а прилагательные *богатый и торговый* – значения “купец”.

С девок брать повенчалное,
Со стариц брать постригальное.
С гостей торговых посуконное. (*Гильфердинг*)

Такое же значение выявляется и в тех случаях, когда слово *гость* сопрягается с существительным *купец* и/или именем собственным:

А поезжае что Иванушко жениться,
А к гостю к купцю еще Митрищю,
А за то за славное за синё море.
Да я Пленко да гость Сарожанин. (*Гильфердинг*)

Во многих фрагментах подобный ряд дополняется определением:

И гости купцы тут торговые
А похвастались они тут товарами. (*Гильфердинг*)

Слово *гость* в этом значении часто выступает в роли приложения:

Да тут-то Садко купец, богатый гость, поезд держал.
(*Гильфердинг*)

“Социальное” значение у слова *гость* проявляется и в тех случаях, когда выстраивается ряд *князь... боярин... (купец)... гость*:

Да поднялся князь на Почай на реку,
Да со князьями-ты поехал со боярами,
Со купцями со гостями со торговыми (*Гильфердинг*)

В рассматриваемом нами корпусе северных песен гость “купец” встречается лишь в одном тексте, где значение слова также подкрепляется определением *торговый* и вертикальными связями:

Еще князья-бояре дивовались молодцу,
Еще гости торговые позавидовали. (*Соболевский*)

Иногда контекст не дает основания с уверенностью говорить о том или ином значении слова *гость*. Например, в былинной ситуации “на пиру” могут не дифференцироваться значения “посетитель” и “купец”.

Был собран многопочетный пир
На всех-то князей, да ведь бояров,
На всех гостей званых – избранных. (*Гильфердинг*)

Званный – “приглашенный в гости” (СлРЯ XI–XVII вв. Т. 5. С. 344), *избранный* – “принадлежащий к избранному кругу, особенно ценный, отличающийся” (СлРЯ XI–XVII вв. Т. 6. С. 102).

Заводил же он тут да почестный пир,
На князей пир да он на бояр пир
И на всех гостей да званых браних. (*Гильфердинг*)

Браный – “отборный” (СлРЯ XI–XVII вв. Т. I. С. 317). П. Рыбников, исходя из значения *браный* “узорчатый, вышивной”, характеризует сочетание *браный гость* как “вероятно, не простой, а разодетый”.

Особенно трудно установить смысл слова, если контекст не содержит пояснений:

Ехали гости,
Стукали в доски. (*Киреевский*)

А все эти гости закручинились.
И все эти гости запечалились. (*Гильфердинг*)

В анализируемых текстах нами отмечен ряд производных от слова *гость*. В былине это *гостюшко* (*гостюшки*). Эта форма зафиксирована в разных былинных сюжетах у разных исполнителей на разных территориях, при этом она может соседствовать с основной:

– Ай же вы гостюшки заезжие,
Заезжие гости захожие!
Вы чего пришли, чего заехали? (*Гильфердинг*)

Правда, в одном случае у слова *гостюшки* выявляется значение “муж”:

У ей Василисты Микуличны
Были забраны гостюшки любимыи.
Она ест, да пьет, кушает,
Над собой невзгоды не ведает,
Что не стало у ней молода Ставра. (*Гильфердинг*)

Однако обращение к общему тексту позволяет понять, почему сказительница Сурикова использовала слово *гость* в нетипичном для эпоса значении: в начале былины Ставёр назван гостем Черниговским:

За тым же столиком за дубовым
Сидит молодой гость Черниговской,
Молодой Ставёр сын Гоудинович. (*Гильфердинг*)

А в песенных текстах нами отмечены существительные *гостик* и *гостейка*. Слову *гостейка* в словаре В.И. Даля даны толкования “прихлебатель, охочий до пиров, до чужих обедов”, “проживающий в доме гостем, проживалка” и “пришедший на побывку свой или близкий человек”. Один из отмеченных примеров подтверждает реализацию последнего значения:

Я у мамоньки, у тятеньки
Дорогая буду гостейка. (*Соболевский*)

В другом песенном сюжете вероятно первое или второе значение:

Что у батюшки пир в гостях,
А у матушки были гостейки,
А у подруженек да сестрицы! (*Киреевский*)

Появление же единичной формы *гостик* обусловлено, по-видимому, требованиями песенного ритма:

Позову я гостя,
Гостя дорогого,
Батюшку родного.
Что не долго гостик гостит –
Одну ночь ночует. (*Соболевский*)

Позову я гостью,
Гостью дорогую –

Матушку родную.

Что не дано гостя гостит... (Там же)

В “Онежских былинах” зафиксировано еще одно существительное с корнем *гост-*: *гостебище* (*гостебищо*, *гостѣбищо*). В 19 из 20 употреблений у данного слова выявляется значение “пир, участие в пире, пребывание в гостях” (СРНГ. Вып. 7. С. 90). “И зовет она себе-ка-ва в гостѣбищо” (Гильфердинг) и всего лишь один раз значение “угощение” (Там же).

Тут солнышко Владимир стольнѣ-киевский

Ставил он же столики дубовыи

И угашивал великим гостебищем. (Гильфердинг)

Прилагательное *гостиный* в песнях и былинах имеет разную сочетаемость. Общей является только атрибутивная пара *гостиный ряд*:

Ай получишь лавки во ряду да во гостиномѣ

С дорогима ведь товарамы. (Гильфердинг)

Слово *гостиный* в данном сочетании, очевидно, означает “торговый”.

В былине о Соловье Будимировиче отмечено сочетание *гостиный двор*, которое скорее имеет значение “постоялый или заезжий двор для купцов” (у Даля с пометой *стар.*):

А состройте-тко мне-ка три терема,

Три терема златоверхиих,

А в четвертых состройте мне гостиной двор. (Гильфердинг)

Встретившееся в песне выражение *гостиный сын* причудливо совмещает в себе значения “купеческий” (СРНГ. Вып. 7. С. 94) и “милый, сердечный друг”, поскольку указание на социальный статус в следующем контексте явно неуместно:

Вышла, встретила меня,

Гостинаго сына,

За белы руки взяла,

Поцеловала, обняла. (Соболевский)

Гостиный в былине “Иван Годинович”, сочетаясь с именем собственным Митрий, означает, вероятно, “принадлежащий к купеческому сословию”, а возможно, и “хозяин гостиного двора”:

А приехал ён в город Черниговский,
А ко тому ли-то к Митрею ли гостиному. (Гильфердинг)

Интересно выражение *гостиная неделя*, употребляемое в песне. По севернорусским обычаям девушек отпускали гостить на неделю—две к родственникам; эти недели проводились молодежью особенно весело и вольно. В некоторых местах гостиные недели приурочивались к Рождеству, Новому году или Пасхе.

Муж удала головушка!
Ты спусти-тка меня в гости,
На гостину, на неделюшку
На родимую сторонушку,
Ко родителю ко батюшке,
Ко желанной ко матушке. (Соболевский)

Глаголы с корнем *гост-* и в песнях, и в былинах низкочастотны, однако в эпосе они более разнообразны — *гостить*, *погостить*, *угощать*, *угощаться*:

Пировали оне угощалисс
Ровно сем-де дён. (Гильфердинг)

В то время как в лирической песне отмечена одна глагольная форма *гостить*: “Я вечор в гостях гостила” (Соболевский).

Характерной чертой фольклора являются тавтологические сочетания слов разных частей речи с указанным корнем: “Позову я в гости гостя” (Соболевский); “У тя гость в гостях”, “Да у тебя в терему есть ужо гость гостит” (Гильфердинг).

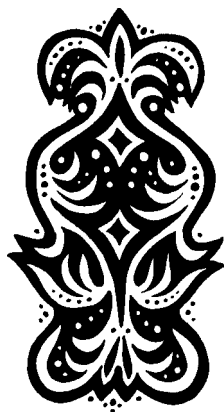
Интересно, что в северных песнях слово *гость* ни разу не встретилось в роли обращения, а в былинном тексте, напротив, это достаточно регулярное явление:

Подите вы гости по своим домам,
Ныне мне гости не до вас пришло.

Ай же гости бажёные любезные,
Ай русейские сильнии могучии богатыри! (Гильфердинг)

Таким образом, наши наблюдения позволяют говорить о семантическом разнообразии слова *гость* в русском фольклоре, о приоритетах в лирическом и эпическом жанрах и о богатстве словообразовательного гнезда с вершиной *гость* в устном народном творчестве.

Курск



***Народно-поэтические мотивы
в стихотворении “Зимнее утро”***

А.С. Пушкина

Д. Н. МЕДРИШ,

доктор филологических наук

Пушкинский образ прост и в то же время неисчерпаем. Простота его замечается сразу, неисчерпаемость зачастую остается незамеченной. Нередко это случается тогда, когда в основе пушкинского слова лежат фольклорные представления – но не в виде цитаты, а в преображенном, пушкинском облике, как, например, в стихотворении “Зимнее утро”, которому уделяет внимание едва ли не каждая работа о пушкинской лирике. И все же нечто важное в поэтике этого произведения остается неучтенным. Так, приведя начальные строки стихотворения, рисующего солнечный зимний пейзаж, известный пушкинист С.М. Бонди замечает, что “после всех этих чудесных поэтических сравнений и метафор поэт вводит в свои стихи самые бытовые слова и образы: “Трещит затопленная печь” (Бонди С.М. Статьи и исследования. М., 1983. С. 137).

Цитируя поэта, исследователь опускает начало фразы – половину предыдущего стиха; ведь у Пушкина: “Веселым треском Трещит затопленная печь”. Это единственный поэтический образ, имеющий глубокие корни в народной речи и народной поэзии. Если же, как это делает С.М. Бонди, опустить начало фразы, остается только бытовая реалья.

В.И. Даль приводит присловье, фиксирующее обыденность этого факта: “Где горит, там и трещит” (Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955. Т. 4. С. 429). У Пушкина обе части предложения – компоненты одного образа изначально, о чем свидетельствуют запечатленные в черновике этапы рождения этой фразы. Первый набросок: зафиксированы начало стиха (“И весело”) и, после пробела, – конец его (“трещит”). Поиск начался с двух ключевых слов – “весело” и “трещит”. В последующих вариантах фразы варьируются, но неизменными остаются сразу найденные два опорных слова, основа образа, создающего звуковой фон всего стихотворения (Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 16 т. М.-Л., 1949. Т. III // 2. С. 766–769).

Слово “треск” восходит к общеславянскому корню “трѣ”, который в этимологическом словаре характеризуется как “звукоподражательный” (Шанский Н.М. и др. Краткий этимологический словарь русского языка. М., 1971. С. 451). В окончательном тексте стихотворения звукоподражательный эффект продлен: рядом поставлены (и в то же время разведены по двум соседним стихам) однокоренные слова: “треском – трещит” (о свойственном Пушкину слуховом восприятии действительности см.: Альтман М.С. У истоков творчества Пушкина. Штрихи и заметки // Болдинские чтения. Горький, 1976. С. 100; Белоусов А.Ф. Художественный смысл стихотворения А.С. Пушкина “Зимний вечер” // Преподавание литературного чтения в эстонской школе. Методические разработки. Таллин, 1981. С. 24). Подобные лексические повторы характерны для народнопесенной поэтики: слова, завершающие один стих, начинают другой (“подхват”).

Изначально присутствует в пушкинской рукописи и эпитет к слову “треск” – “веселый”. Те же два образа соседствуют и в другом пушкинском тексте, созданном несколькими годами ранее и тоже связанном с зимой в деревне: сорок вторая строфа четвертой главы “Евгения Онегина” начинается стихами “И вот уже трещат морозы И серебрятся средь полей”, а заканчивается словами: “...веселый Мелькает, вьется первый снег, Звездами падая на брег”. В романе “веселый” и “треск” выступают порознь в зрительном пейзаже, в стихотворении – в интерьере, в едином звуковом образе.

Н.И. Толстой в одной из своих работ по славистике рассматривает исторические истоки общеславянского корня *vesel- в их связи с мифопоэтическим видением мира. “Лексика, восходящая к праслав. *vesel-, – пишет он, – занимает одно из ключевых положений в терминологии рождественской и новогодней обрядности всех славянских народов (...), а мотив веселья, которому придается магическое значение благопожелания, является стержневым мотивом рождественской обрядности и фольклора” (Толстой Н.И. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М., 1995. С. 294),

то есть мотивом, характерным для зимнего обряда. Особенно тесно понятие “веселый” у славян связано с огнем – небесным и земным: *веселое* солнце, *веселый* огонь; оба эти образа в славянском мировидении взаимосвязаны и имеют общие исторические корни. Н.И. Толстой, вслед за П.А. Ровинским, отмечает, что в «сербской рождественской обрядности, где главным символом Рождества служит ритуально сжигаемое на огне полено “бадняк”, именно этот ритуальный предмет получает номинацию посредством слова *vesel-». Так, в Черногории бадняку дается образное название – *блажено дрво* или *веселак*, а глаголом *веселити се* (веселиться) “обозначалось горение бадняка, которому придавалось сакральное и магическое значение”. По этому случаю существовала здравица, завершавшаяся словами: “Будьте здоровы, мои бадняки, мои весельчаки! Весело горите, а возле вас ребята пусть весело вино пьют и веселятся, как приличествует счастливым и Богу угодным сербам, дай Бог!” (Там же. С. 298, 299). К тем временам едва ли не во всех славянских языках восходят устойчивые словосочетания, вроде, например, чешского “*vesele praskat*” (весело трещит) (См.: *Česko-ruský slovník*. Praha, 1973. S. 957). При этом то, что у южных славян имело по преимуществу сакральный характер, в русской жизни, с ее холодной и продолжительной зимой, вошло в быт. “Затопленная печь” в “Зимнем утре” не только указывает на огонь, но и подчеркивает его происхождение и назначение. Здесь за каждым словом – веками сложившееся представление о домашнем уюте. Ведь печь “как вместилище пищи или домашнего огня (...) воплощает собой идею дома в аспекте его полноты и благополучия” (Топоров В.Н. Печь // Славянская мифология. Энциклопедический словарь. М., 1995. С. 310).

В русской речи слово “веселый” многозначно: оно означает и “радостный, веселящийся”, и “способный вызывать веселье”, и “светлый, блестящий”. В народном словоупотреблении оно имеет еще один смысл – “громкий, шумный”. Таким образом, *треск* в пушкинской фразе как бы усилен дважды – и повтором корня, и метафорическим эпитетом “веселый”; эта выдвинутая на первый план деталь в пушкинском контексте перекликается с народной приметой: “Дрова горят с треском – к морозу” (Даль В.И. Толковый словарь. Т. I. С. 493. О некоторых народных приметах в “Зимнем утре” и других произведениях Пушкина см.: Медриш Д.Н. Народные приметы и поверья в поэтическом мире Пушкина // Московский пушкинист – 3. Ежегодный сборник. М., 1996. С. 110–124). Мифологическая традиция в “Зимнем утре” не экзотична – она органично присутствует в бытовых картинах и зарисовках. Слово в пушкинском контексте, перекликаясь с народной речью, как бы вспоминает о своем поэтическом прошлом.

Все стихотворение “Зимнее утро” – монолог, точнее – “односторонний диалог”, столь характерный именно для русской лирической

песни. Своеобразие такого диалога состоит в том, что в нем, при наличии воображаемого собеседника, приводится речь только одного персонажа – лирического героя. Лирический герой “Зимнего утра” говорит о своих впечатлениях, переживаниях и намерениях; завершается стихотворение картиной предлагаемой поездки в санях вдвоем с милой – ситуация, характерная для народной лирической песни, прежде всего – обрядовой. Важнейший этап свадебного обряда – приезд свадебного “поезда” в дом невесты и отъезд ее с женихом к венцу – сопровождается песнями. Приведем начало одной из них:

Скрип вороточки, мороз на дворе.
“Есть ли у друженьки черкасское седло?”

А вот заключительные слова этой песни, обращенные к подружкам невесты:

“Разбудите-ка подружку свою,
Выдайте нам ее буйну голову”.

В другом варианте этой песни: “Кони-то верные, саночки валкие”; в третьем – девушка просит коня для поездки – сначала у батюшки, затем у матушки – безуспешно, и только Иванов конь “что ступил, что пошел, что у рысь побежал” (Обрядовая поэзия. М., 1989. С. 442, 445, 446). Этими словами песня заканчивается. Образное развитие “Зимнего утра” происходит в том же порядке. В начале стихотворения:

Мороз и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг прелестный –
Пора, красавица, проснись...

В последней строфе:

Скользя по утреннему снегу,
Друг милый, предадимся бегу
Нетерпеливого коня...

Примечательно, что в черновом варианте последовательность строф была иная, и диалогический характер речи проступал только в середине стихотворения. Как пронизательно заметил А. Слонимский, строфа, начинающаяся словами “Под голубыми небесами”, перенесенная с первого на третье место (после строф “Мороз и солнце...” и “Вечор, ты помнишь...”), “таким образом включается в диалог” (Слонимский А. Мастерство Пушкина. М., 1959. С. 98), который теперь охватывает все произведение: Пушкин шел – и пришел – к одностороннему диалогу.

Едва ли не все комментаторы “Зимнего утра” особо выделяют замену имевшегося в черновике стиха “Коня черкасского запречь” на появившийся в окончательном тексте – “Кобылку бурую запречь”. Сопоставляя два варианта поэтического текста, черновой и белой, исследователи, как правило, прежде всего обращают внимание на то, чем они различаются и почему автор предпочел один вариант другому. И в данном случае комментаторы отмечают, что замена “коня черкасского” на “кобылку бурую” свидетельствует об утверждении в творчестве Пушкина реалистического стиля (см., например, примечания Т.Г. Цявловской: Пушкин А.С. Собр. соч.: В 10 т. М., 1974. Т. 2. С. 580). Обратим внимание и на другое: что общего у этих двух вариантов, почему они последовательно явились поэту? Видимо, так случилось потому, что оба они – из одного фольклорно-поэтического ряда. Недаром в одной из былин находим: “И седлал *бурка* на седельшко *черкальское*” (Онежские былины, записанные А.Ф. Гильфердингом летом 1871 года. В 3 т. СПб., 1894–1900. Т. 2. С. 53).

В “Зимнем утре” выражено светлое восприятие жизни, несмотря на ее противоречия. Точнее – жизни со всеми ее противоречиями, злыми вьюгами, невзгодами и печалью. Здесь «слышно то пушкинское “томление по счастью”, о котором писала Анна Ахматова» (Маймин Е.А. Пушкин. Жизнь и творчество. М., 1981. С. 137). В “Зимнем утре” это “томление по счастью” перерастает в предчувствие счастья. Постоянная переключка с фольклорной традицией, в частности, со свадебной обрядовой лирикой, – скорее результат ощущения действительности, чем преднамеренная авторская установка.

В заключение напомним, что стихотворение “Зимнее утро” Пушкин написал 3 ноября 1829 года в селе Павловском, что в Тверской губернии, по пути с Кавказа в Петербург, где поэта ждала встреча с Натальей Николаевной Гончаровой, его суженой.

Волгоград

Об этимологии русского *детинец* – “крепость”

А. Ф. ЖУРАВЛЕВ,
доктор филологических наук

В древнерусском языке существовало слово *дѣтиныць* “внутренняя крепость, кремль”, как историзм достаточно хорошо известное и теперь. Семантически оно находится в коррелятивной (соотносительной) паре с существительным *острогъ* “в е ш н я я крепость в противоположность детинцу”: “видевше силу Половечьскую повелеша люде(м) всем бежати из острога в детинець” (Лаврентьевская летопись под 1152 годом); “Изяслав же пришед к Белугороду, и стоя около детинца (<...> острог бяше Ростислав до него сам пожегл” (Ипатьевская летопись под 1161 годом. Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). М., 1988. Т. III).

Можно предполагать, что для носителей русского языка той поры, когда это слово было в активном употреблении, его формальное и смысловое устройство было вполне внятным. Однако со временем эта “внутренняя форма” была утрачена, вернее, сохранилась возможность отождествить корневую базу слова с морфемой *дет-* (праслав. *dēt-), но характер связи значений “дитя, детский” и “укрепление, кремль” формулируется с большим трудом.

В известной работе “Поэтические воззрения славян на природу” А.Н. Афанасьев словом *детинец* иллюстрирует реконструируемые представления о необходимости кровавой жертвы (вплоть до человеческой) при заложении города. Сами эти представления здесь нас совсем не занимают (впрочем, о так называемой “строительной жертве” – “Baupfer” в немецкой этнологической терминологии – см.: Зеленин Д.К. Тотемы-деревья в сказаниях и обрядах европейских народов. М.-Л., 1937; Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. Л., 1983 и др.). Вот его пересказ легенды об основании Новгорода: “когда Славенск запустел и понадобилось срубить новый город, то народные старшины, следуя древнему обычаю, послали перед солнечным восходом гонцов во все стороны, с наказом захватить первое живое существо, какое им встретится. Навстречу попалось д и т я; оно было взято и положено в основание крепости, которая потому и названа Д е т и н ц е м” (Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. М., 1994. Т. II. [авторская разрядка в цитате воспроизведена частично]). Объяснение носит, конечно, анекдотический

характер и принадлежит к типичным топонимическим преданиям, которым свойственны наивноэтимологические и ложномотивационные осмысления, а на этой основе – произвольное конструирование “исторических фактов”. Например, имя реки *Ворсклы* объясняют тем, что царь Петр будто бы уронил в нее подзорную трубу и обозвал ее в сердцах *вор скла* (-стекла). Аназвание города *Кандалакша* (карельского происхождения), ссылаясь на наличие в его окрестностях заведений ГУЛАГа, связывают со словом *кандалы*, хотя заковывание в железо, несмотря на его эффективность в качестве средства социальной терапии, в этих сталинских “здравницах” масштабно не практиковалось.

Если древнерусское *детиньц* “укрепление, оплот”, “внутренняя крепость” действительно имеет отношение к слову *дитя*, *детя*, то семантическая мотивация здесь должна быть иная, хотя она и не до конца ясна.

А.Г. Преображенский пытался истолковать слово как “место, где находится гарнизон” и указывал на клишированное выражение *дети боярские* “служилые люди” (Преображенский А.Г. Этимологический словарь русского языка. М.-Л., 1949. Т. 1).

Александр Брюкнер и вслед за ним Макс Фасмер, по-видимому, не нашедшие более удачных альтернатив, объясняли устройство слова *детинец* тем, что во внутренней крепости укрывали не принимавших участия в обороне города несовершеннолетних детей (Brückner A. Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa, 1970; М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. М., 1964–1973. Т. 1). Вероятно, это же назначение внутренней части городского укрепления имеет в виду Франтишек Славский, толкуя древнерусское *детинец* как “место для детей” (Sławski F. Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 1952. Т. 1). Та же мысль, со ссылкой на чешского этимолога Вацлава Махека повторяется в польском “Праславянском словаре” (Słownik prasłowiański. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1974. Т. III).

Не будучи удовлетворенной подобными решениями из-за их натянутости, Ж.Ж. Варбот предложила видеть в слове *детинец* производное от глагола *дети* “строить, основывать” с первоначальной мотивировкой “устроенное (укрепленное) поселение” (Варбот Ж.Ж. Детинец // Русская речь. 1977. № 1). О.Н. Трубачев в “Этимологическом словаре славянских языков” эту версию упоминает в контексте идеи о возможной контаминации производного от прилагательного *детин* “детский”, каковым определено существительное *детинец*, с производными от глагола *дети* “строить, создавать” (Этимологический словарь славянских языков. М., 1974 [далее: ЭССЯ]. Вып. 5). Таким образом, как видим, точка зрения Ж.Ж. Варбот в целом О.Н. Трубачевым все же отклоняется, а связь с понятием “детский” и отнесенность слова

детинец “кремль” к гнезду праслав. *dět- “дитя, дети, детский” принимается как вполне установленная, хотя подробности семантической мотивированности так и оставлены непроясненными.

Составители украинского этимологического словаря, признав диалектное слово *дитинець*, продолжающее древнерусское *детинец*, трудным для истолкования, сочли за наименьшее зло допустить вероятность в нем переносного значения, опирающегося на представление о *м а л о с т и* называемых этим словом реалий (о них см. далее) – “внутренняя, м е н ь ш а я часть составного предмета” (Етимологічний словник української мови. Київ, 1982. Т. 2) – чем, якобы, и оправдано их называние, так сказать, “детскими”. Это объяснение тоже нужно расценить как малоубедительное.

Решению этимологической (или, если угодно, просто семантико-мотивационной) задачи, задаваемой словом *детинец* “внутренняя крепость, кремль”, может способствовать внимательный взгляд на иные смыслы, которые передаются этой и близкими к ней формами.

У восточнославянских диалектных слов с корнем *дет-* (*детёнок*, *детёныш*, *детыш*, *детуш*, *детка* и др.) отмечаются значения “небольшой сруб или ящик на дне колодца (для предохранения от засыпания водяной жилы землею или наполненный углем с песком для очистки воды)”; “(центральная) часть плетеной ловушки для рыбы в виде забора из жердочек”; “деталь рыболовного снаряда, вставляемая внутрь”; “внутренняя конусообразная часть рыболовной верши” и под. (Словарь русских народных говоров. Л., 1965 [далее: СРНГ]. Вып. 8; Словарь русских говоров Приамурья. М., 1983; Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка. Киев, 1907–1909. Т. I).

Весьма примечательным следует счесть то обстоятельство, что значения тождественные, подобные или построенные на той же общей идее, отмечаются у некоторых словообразовательных продолжений корня *mat(er)-: воронежское *матері́к* “сруб дома”; вятское *матёрье* “внутренность храма или вообще какого-либо большого здания”; *матица*, *матка* “несущая балка (кровли и пола)”, “киль судна”, “матня; центральная часть невода”, “рыболовный снаряд; верша”, “конусообразная плетенка рыболовного снаряда морды” и проч., а далее русское слово на территории Удмуртии *матері́к* “часть пруда, где протекают воды питающей его реки или подземного источника”, “русло”, “стержень, фарватер реки”, “кряж”, “густой, дремучий лес; крупнолесье [то есть “срединная, основная часть леса]” (СРНГ. Вып. 18).

Те же (и множество сходных) значений регистрируются у родственных инославянских слов, приводить которые мы не станем, отослав читателя к богатому своду межславянских лексических коррес-

пондений на *mat- (*mati/*mater-, *matica, *матѣка и др.) в упомянутом “Этимологическом словаре славянских языков” (ЭССЯ. Вып. 17, 18).

Сказанное дает основание для предположения о том, что в слове *детинец* нужно усматривать аналог слову *матка*, *матица* “база, основа, осевая, центральная или главная часть; основание, причина, корень, и с - т о ч н и к” с множеством частных реализаций этой общей и широкой семантики, включая анатомические (“внутренний орган женского тела, в котором развивается плод”): внутреннюю крепость или кремль должно рассматривать как корень, центр, м е т р о п о л и ю (сложное греческое слово *métro-polis* “столица”, непосредственно “город-мать”, в первом своем компоненте имеет тот же индоевропейский корень, что слав. *мать, *mater-) в противоположность периферии – внешней крепости (*острогу*) и, далее, не-крепостной застройке (*посадам*).

Яркое проявление интересующих нас смысловых связей между словами с корнями *dět- и *mat(er)- следует видеть в украинском *дитинник* “женская матка” и особенно старочешском *dětinec* “женская матка, утроба”, которое мы склонны считать решающим аргументом в пользу предложенного толкования. Обратим также внимание на тождество аффиксального оформления (*-in-сь) приведенного чешского слова и старопольского *matczyniec* “матка (анатом.)”: базовые основы *dět- и *матѣк-выступают в этих словах в абсолютно параллельных словообразовательной позиции и семантической функции. Не менее убедительным доводом в пользу нашего объяснения является новгородское *золотник* “матка невода” (СРНГ. Вып. 11) при широко распространенном диалектном *золотник* “женские половые органы; матка”.

Любопытны регистрируемые в архангельских говорах (извлечение из материалов Картотеки Словаря говоров Русского Севера [Уральский университет, Екатеринбург], любезно сообщенных нам Е.Л. Березович) лексемные пары, то есть семантически сопряженные лексические единицы в их вторичных, переносных значениях; приморское *детёныши* “внутренняя часть коровьего рога” и *матка* “внешняя часть рога коровы”, каргопольское *детинец* “тонкий тюфяк, который кладется под матрас” и *мамочка* “матрас, который кладется на тонкий тюфяк”. В них просматриваются мотивы семантической деривации (образование новых слов), сходные с теми, которые наблюдались в затронутых примерах, однако функционально-смысловая параллельность основ, уже нами отмеченная, здесь явно преодолена в пользу семантического разделения противопоставительного плана; ср. еще архангельское *детинец* “конусообразная, уходящая внутрь, часть ловушки для рыбы” в противопоставлении *матке* “матне рыболовного снаряда”: “В детинец рыба зайдет, а в бочке, в матке-то копится” (плесецкое); “Детинец да матка, у них все устроенно, как у люде й, он у нее как сыночек” (лешуконское).

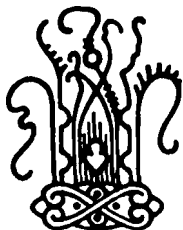
Итак, древнерусское *детиньц*, восходя к праславянскому **dětinьcь* “(анатом.) матка” (иначе говоря, “детское место”), представляет собою метафору, которая, отталкиваясь от широкой идеи “основы, базы, ц е н т р а, истока, н а ч а л”, сводит ее к градостроительному и градооборонительному понятию “внутренняя крепость, кремль (как пространственный ц е н т р и историческое н а ч а л о города)”.

На этом можно было бы поставить точку. Но соображение, развиваемое в настоящей статье, требует еще одного, завершающего сюжет семантического штриха.

Мы прибегли к перифрастическому определению *детинца* как “детского места”. Выражение же это, *детское место*, имеет, как известно, значение “плацента, послед, оболочка, в которой вынашивается и из которой рождается плод (ребенок человека, детеныш животного)”. В некоторых русских диалектах “плацента” обозначается помимо слов *послед*, *постеля*, *рубашка*, *очисток* и др. (заметим, что значение “постель” также обозначается лексемой *место*: СРНГ. Вып. 18) просто существительным *место* без определяющего прилагательного (Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955. Т. III; Ярославский областной словарь. *Липень – Нячуть*. Ярославль, 1987; Журавлев А.Ф. Домашний скот в поверьях и магии восточных славян. М., 1994).

В сводном “Словаре русских народных говоров” это значение регистрируется только для уменьшительных *местёчко* в пермских, прибайкальских говорах и *мѣстичко* в тобольских говорах (СРНГ. Вып. 18). Для сравнения приведем еще болгарское диалектное *мѣсто* (в орфографии Найдена Герова *мѣсто*), польское диалектное *miejsce*, словинское *mesce*, *měscěsko* (у животного), украинское *містище*, белорусское диалектное *мѣста*, *мѣйсца* со значением “послед, плацента” (Герров Н. Речник на българския език. София, 1977. Ч. 3; Маринов Д. Думи и фрази из Западна България // Сборник за народни умотворения, наука и книжнина. София, 1896. XIII; Karłowicz J. Słownik gwar polskich. Krakow, 1900–1911. Т. III. Sychta B. Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej. Wrocław – Warszawa – Kraków, 1967–1976. Т. III. Гринченко Б.Д. Указ. соч., т. II; Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча. Мінск, 1979–1986. Т. 3).

Однако почти во всех славянских языках, не исключая русского (в древнерусском и в современных диалектах), отражения праславянского **město* несут и значение “город” (ср. производные *местечко* “городок”, *предместье* “пригород”). Здесь существенны смысловые нюансы, отмечаемые для чешского *město* “обычно о г о р о д е н н о е поселение с охраняемыми воротами” и сербохорватского (в говорах Герцеговины) *mějsto* “к р е п о с т ь” (ЭССЯ. Вып. 18). Не обнаруживается ли, таким образом, в истории и этого слова эволюция, подобная той, которую мы наблюдаем в семантике слова *детинец*?



Будь здоров! Здорово живешь!

Г. В. БОБРОВСКАЯ

*Здравствуй! (Здравствуйте!) Здорово! Здорово живешь (живете)!
Здравия желаю! Доброго здоровья! Будь здоров (Будьте здоровы)!...*

Подобные этикетные формулы, которые нам приходится слышать и произносить бесчисленное количество раз, являются настолько привычными, что в речевом общении мы лишь выбираем слова и выражения, наиболее соответствующие той или иной коммуникативной ситуации (встреча – прощание; формальное – неформальное общение) и не задумываемся о том, что современные стандартные приветствия возникли путем семантической редукции пожеланий здоровья и удачи.

Формула приветствия как пожелание человеку здоровья известна во многих славянских языках – украинское *Здоровенькі були!*: “Здоровеньки були, пане добродзю, – сказал Мышлаевский ядовитым голосом” (Булгаков. Белая гвардия); белорусское *Здарова! Добрага здароўя!* болгарское *Здравей!* хорватское *Zdravo!* Интересно, что хорватское приветствие имеет два значения: как пожелание при встрече и синонимично русскому *Здравствуй! (Здравствуйте!)*, а также как пожелание при прощании (Отин Е.С. “За сим паки здравствуй!” // Русская речь. 1981. № 3).

Пожелание здоровья при расставании с кем-либо характерно и для русского речевого этикета: *Будь здоров! (Будьте здоровы!)*. Отметим, что первоначально оборот связывался с суеверными представлениями; отсюда употребление в значении “восклицание при чихании кого-либо с пожеланием здоровья”. Восклицание было призвано, по древним представлениям восточных славян, оградить чихнувшего человека от соприкосновения с каким-либо духом (на анимистическую основу фразеологизма указывается в следующих работах: Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А.В. “Опыт этимологического анализа русской фразеологии”; Мокиенко В.М. “Загадки русской фразеологии”; Би-

рих А.К., Мокиенко В.М., Степанова Л.И. “Словарь русской фразеологии. Историко-этимологический справочник”).

Процесс семантического развития выражения *Будь Здоров!* (*Будьте здоровы!*) в современном русском языке шел в двух направлениях: 1) закрепление как этикетной формулы (названные значения “пожелание при чихании”, “пожелание при прощании”, а также “застольное пожелание” – в последнем случае допустима замена компонента *будьте* – *будем*, а выражение в целом синонимично оборотам *твое (ваше) здоровье! за твое (ваше) здоровье!*); 2) усиление экспрессивности с одновременной утратой морфологической вариативности (только в форме *будь здоров*); употребление в значениях “очень хорошо, отлично (делать что-л., сделано что-л.)”; “очень хороший, вызывающий восхищение, удивление (кто, что)”. В обстоятельственном значении фразеологизм *будь здоров* соотносим с лексическими синонимами *отлично, отменно, славно, превосходно, здорово* и т.п.

В формировании семантики просторечного приветствия *здорово живешь (живете)!*, по-видимому, приняли участие оба из омонимов *здорово* 1 – “очень сильно”; 2 – “очень хорошо” и *здорово* “приветствие”. С одной стороны, компонент *здорово* наследует у лексического прототипа не только акцентологические характеристики, но и семантические (пожелание здоровья). Фразеологизм, таким образом, актуализирует внутреннюю форму слова *здорово* и представляет собой развернутое пожелание жить здоровым. Однако, с другой стороны, фразеологическое значение в целом представляется более сложным за счет наложения квалификативного элемента: *здорово живешь* – т.е. хорошо (Ср. с наречием *здорово* в данном значении).

Предположение о совмещении в семантике выражения *здорово живешь* значений указанных омонимов подтверждают данные народных говоров. В “Толковом словаре живого великорусского языка” В.И. Даля приводятся различные речевые обороты, построенные на неразделенности значений “приветствие” и “высокая степень качества”: *Здорово парился!* – адресовано идущему из бани; *Здорово, да без коровы* – иронично о состоянии чьих-либо дел; *Здорово в избу* – приветствие в пермских говорах.

В “Словаре русских донских говоров” зафиксированы следующие принятые в речи донских казаков формулы приветствия:

– употребляющиеся при встрече в любое время дня просторечное *здорово живете (живешь)!* а также появившееся в результате украинизации донских говоров *здорово (здоровы, здоров) были (бул, булы)*;

– приветствие при встрече вечером и днем: *здорово дневали (дневал)!*;

– приветствие при встрече утром: *здорово ночевали (ночевал)!* (это выражение как “приветствие при входе в дом” встречается и во “Фразеологическом словаре русских говоров Сибири” А.И. Федорова).

Данные выражения принадлежат к активному запасу диалектной лексики; о их распространенности, популярности в современных донских говорах можно судить, в частности, по произведениям Б.П. Екимова: “Здорово живешь, казак, – поприветствовал Чапурин, протягивая руку” (Челядинский зять); “Во дворе поздоровались как положено. – Здорово живете... Говорят, дом у вас продается?” (Продается дом и старая женщина); “Здорово дневали! – с наигранной легкостью приветствовал родню Николай” (Путевка на юг); “Полюша! Поднял, что ль, господь?! Здорово ночевала?” (Последняя хата).

Названные обращения предполагают стандартные ответы – *слава*; *слава богу*, либо ответное пожелание здоровья: “Вошел Григорий. Зыркнул по сторонам. – Здорово дневали. – Слава богу, – протяжно ответила хозяйка” (Шолохов. Тихий Дон); “Поравнялся Арсений. – Здорово живешь, молодка, – Слава богу, Арсений Андреевич” (Шолохов. Двухмужня); “Подъезжали конные, поднимали шапки. – Здорово дневали. – Доброго здоровья” (Серафимович. Степные люди).

Следовательно, выражение *здорово живешь (живете)!* могло возникнуть в качестве формулы приветствия в народной речи потому, что, во-первых, восходит к общеславянской традиции приветствия через пожелания здоровья, и, во-вторых, обогащается словообразовательной и смысловой связью с наречием *здорово* и выступает как констатация того, что у приветствуемого в жизни все хорошо, благополучно. В сознании русского человека здоровье – одна из базовых жизненных ценностей, залог благополучия и счастья. Видимо, в этом и заключается смысл пословиц *Здоровому все здорово; Здоровому и нездоровое здорово, а нездоровому и здоровое нездорово.*

Волгоград



Паузы и знаки препинания

В. Г. ЗДАНКЕВИЧ

Всякое высказывание можно расчленить на отдельные отрезки, объединенные интонационной, смысловой и синтаксической цельностью. Эти отрезки выделяются усилением последнего ударения и паузой. Так, группа подлежащего – это один отрезок высказывания, группа сказуемого – другой, например: Большая рыжая собака / грелась на солнышке.

Паузы между подобными словесными отрезками нередко воспринимаются пишущими в качестве ориентира для постановки знака препинания. Но не следует забывать, что знаки препинания не являются зеркальным отражением пауз. В одних случаях паузы между отрезками высказывания совпадают со знаками препинания, в других – нет.

Отрезки высказывания или его элементы отделяются один от другого пунктуационным знаком при сочинительной связи, когда они грамматически независимы, равноправны, например: Он снял шляпу, / бережно положил на стол. Я коллекционировал марки, / монеты, / открытки. Заходит солнце, / наступает вечер.

При подчинительной же связи, когда один из отрезков высказывания имеет характер, зависимый от другого, между ними знак препинания не употребляется (здесь имеются в виду не обособленные и уточняющие члены предложения, не подлежащие и составные сказуемые без связки и не придаточные предложения). При подчинении отрезки высказывания обозначают предмет, явление, качество, свойство, про-

цесс: *интересная книга, птица летает, новый абажур, весело шагать, вернуть книгу в библиотеку, добросовестно выполнить задание, с утра до вечера увлеченно читать роман.*

В нашем представлении, как и в реальности, каждое из этих словосочетаний, обозначающих “кусочки” действительности, это неразложимое понятие, единое смысловое целое, и поэтому постановка разделительного пунктуационного знака в подобных словосочетаниях неуместна.

Надежной опорой при пунктуационном оформлении предложений может служить для пишущего сочинительный союз *и*. Так, если между отрезками высказывания или его элементами можно употребить союз *и*, то они разделяются запятой, например: *Взлетают жаворонки, / реют, / пропадают в поднебесье* (ср.: *Взлетают жаворонки, и реют, и пропадают в поднебесье*). *Сухо, / чисто, / светло от листьев в саду* (ср.: *Сухо, и чисто, и светло от листьев в саду*). *Скрипят клесты, / звенят иволги* (ср.: *Скрипят клесты, и звенят иволги*).

Если же между отрезками высказывания или его элементами нельзя поставить союз *и*, то они не разделяются запятой, например: *Маленький / серый воробей / бойко прыгал по дорожке. Сразу же после обеда / Таня отправилась в библиотеку. У широкой / степной дороги / ночевала отара вец. Недавно приехавший в поселок / доктор / стал выступать с лекциями. Сквозь тонкие стволы деревьев / били в мою спину лучи / только что взошедшего солнца. После переезда из Москвы в Петербург / я поселился у приятеля. Не подверженный никакому преимущественному влиянию / пояс магнита лежит на середине / между его северным и южным полюсами. Международная экспедиция / обнаружила на одном из изолированных от внешнего мира / высокогорных плато Тибета / лошадь неизвестной науке породы.*

Во всех вышеприведенных высказываниях на месте обозначенных пауз логически недопустимо употребление союза *и*, поэтому и постановка запятых здесь исключается.

Итак, чтобы не допускать пунктуационных ошибок, не следует отождествлять паузы и знаки препинания.

Как монстры заменили мастодонтов

Э. Д. ГОЛОВИНА,

кандидат филологических наук

В речевой практике последних лет наблюдается значительное количество словоупотреблений, не соответствующих канонам современной академической лексикографии. Так, прилагательное *нелицеприятный* почти всегда встречается в значении “неприятный” (а не “беспристрастный, справедливый”); существительное *персоналия* – в значении “персона” (а не “материалы о выдающейся личности”); *муссировать* – в значении “обсуждать” (а не “преувеличивать, раздувать”) и т.п.

Как расценивать отмеченные явления: как нарушения лексических норм, то есть ошибки, или как факты естественной языковой динамики? Окончательный ответ на этот вопрос дадут время и соответствующая кодификация наметившихся изменений толковыми словами современного литературного языка.

Для отражения таких явлений задуман “Словарь семантических новаций” – как издание типа конкорданса, словник которого – несколько сот “проблемных” в плане культуры речи языковых единиц. Для каждой из них дается массив документированных контекстов, выявляющих современное речевое употребление, приводится традиционная лексикографическая трактовка и объясняются причины наблюдаемых семантических изменений. Кроме того, при наличии слов, производных от заголовочного, контексты с ними помещаются в заключительной части каждой словарной статьи. Вот как выглядит один из блоков будущего словаря.

МОНСТР 1. Гигант. 2. Корифей.

1. Его (Спилберга. – Э.Г.) не удовлетворили самые лучшие условия, предлагавшиеся студиями-монстрами (АиФ. 1999. № 8); Телеканал СТС занял четвертое место, пропустив вперед только общенациональных “монстров” ОРТ, РТР и НТВ! (АиФ. 2001. № 18); Программе “Изумрудный город” пришлось состязаться с работами таких монстров телевидения, как “ТВ-6 Москва” (Киров вечерний. 1999. № 18);

Сегодня в нашем политическом пространстве вращаются три крупных конгломерата, три *монстра* (АиФ. 1999. № 45); А не так давно “SONY” вторглась и на рынок компьютерных технологий, изрядно потеснив таких *монстров*, как IBM и MICROSOFT (Киров вечерний. 1997. № 40); Этот, казалось бы, финансовый *монстр*, лишился своей лицензии всего за несколько дней (Контакт. 1996. № 33); Людей ...с распростертыми объятиями встречали и в концерне Fiat, и в независимой еще тогда от этого индустриального *монстра* фирме Alfa Romeo (Авторевю. 1999. № 2); Вот что значит наличие в округе акционировавшихся предприятий, к которым вдруг стали проявлять интерес финансово-промышленные *монстры* (Огонек. 1997. № 46); Все они, как ни крути, *монстры* российской элиты, полновесные хозяева регионов (Моск. комс. 2000. № 24). 2. Наши “*монстры*” – Н. Михалков, С. Бэлза, О. Табаков (Комс. правда. 1999. 22 янв.); ...собрались такие *монстры* росэстрады, как Алла Пугачева, Мурат Насыров, Алена Апина, Олег Газманов, Влад Сташевский и иже (Новая газета. 1997. № 40); ...*монстр* ток-шоу Фил Донахью (АиФ. 1999. № 10); ...задействованы киты отечественного самиздата – Сергей Гурьев и Олег Пшеничный, они же – *монстры* рок-журналистики (Цвет яблока. 1999. № 4).

Большой толковый словарь русского языка (СПб., 1998): МОНСТР. 1. Книжн. Чудовище, урод. *Страшные монстры. Рисовать монстров.* 2. Разг. О том, кто (что) выделяется, поражает своим необыкновенным (обычно нелепым) видом, уродством. *Станок-монстр.* // О человеке с какими-л. дурными свойствами характера, странностями в поведении и т.п. *Жить среди монстров.*

Новое употребление слова *монстр* – следствие незнания авторами его значения и ассоциаций с созвучным существительным *мастодонт*, которое в переносном смысле употребляется как характеристика кого (чего)-либо крупного, значительного, но несовременного, старомодного, отжившего. Последнее подтверждается синонимичными употреблениями существительных *монстр* и *мастодонт*, например: Просто слушатели, знающие про эти мерки, на концерты Леонтьева не пойдут, для них он навсегда остался *монстром* советской еще эстрады... (Наш вариант. 1998. № 15); (Голос Алсу. – Э.Г.), по словам *мастодонта* нашей эстрады Льва Лещенко, чем-то напомнил ему голос Анны Герман (Всем. 1999. № 16); Остались, конечно, *мастодонты* типа Маркеса или Фаулза, того же Астафьева... (Независимая газета. 1999. № 21); «Тем не менее права на “Байки” были проданы другому *киномонстру* – “Universal Pictures”» (Всем. 1998. № 25).

Русская речь в Интернете

Г. Н. ТРОФИМОВА,
кандидат филологических наук

Англоязычный Интернет со всего размаху “врубился” в русскую словесность целой армией технических терминов. Учитывая, что в русском языке уже функционирует бесчисленное множество заимствований, можно было бы предположить, что и эти, безусловно, необходимые пользователю Интернета, англицизмы, слегка “обрусев”, найдут свое место в лексическом пространстве русского языка. Однако процесс пошел дальше: одни сетевые термины уже приближаются к границе, за которой находится общеупотребительная лексика, другие во всю эксплуатируются рекламой, а значит, естественным образом проникают вместе с ней в каждый дом. Например, в новогодней рекламе кока-колы нам предлагают кликнуть Деда-Мороза, что отнюдь не означает, что мы должны его позвать с помощью голоса. Надо всего лишь нажать на клавишу устройства, в просторечье именуемого “мышкой”, чтобы компьютер связал вас с самой крутой игрой (!). Да я сама недавно предлагала своей знакомой “обновить” ситуацию, то есть начать запутавшийся разговор заново.

Сетевая лексика звучит в новых анекдотах, ее используют даже в повседневном общении, хотя спроси кто-нибудь, а что же то или иное слово конкретно означает, точного ответа не дожدهшься.

Еще одной яркой приметой веб-современности стало формирование молодежного сетевого сленга, в котором персональный компьютер ласково именуется “писюком” (от английского PC), а личный сайт (home page, что дословно переводится как “домашняя страница”) – “хомяком”. Те, кто интересуется Интернетом, сами с легкостью назовут десятки подобных слов и выражений, так как уже не единожды на разных сайтах предпринимались попытки создания различных списков и виртуальных словарей новой лексики, в том числе связанной и с Интернетом.

Мы знаем, что для жаргонной лексики характерна ограниченная сфера употребления. Это социальный вариант речи, который используется в определенных условиях общения. Как правило, жаргонная лексика принадлежит социальной или иной группе людей, объединенной общностью интересов, занятий и т.п. Все это справедливо и по от-

ношению к той группе слов, которая образовалась и постоянно расширяется в русском языке в связи с освоением Интернета.

На первом, начальном этапе освоения Интернета русский язык стал активно пополняться англоязычными терминами, так как создателями сети являются американцы. Однако технические термины постепенно преобразуются в жаргонизмы, имеющие определенную эмоционально-экспрессивную окраску, чаще всего, иронического характера.

Таким образом, можно говорить о том, что при обычном процессе заимствования чужих слов как немотивированных обозначений предметов, явлений и процессов происходит качественное смещение, которое близко подходит к явлению так называемой народной этимологии, но не становится ею как таковой. В языке известна тенденция “пристраивать” заимствованные слова, которые неудобно произносить, к созвучным словам, вводить их тем самым в круг родственных слов и осмысливать их в этом кругу. При этом подлинное значение нередко искажается (*оккупант–окопант*). Но в данном случае искажение смысла отсутствует.

Народность же осмысления чужих терминов, намеренное, хотя, быть может, и не осознанное стремление к стилистическому снижению их значимости, проявилось не только в их переименовании, но и в возникновении иронического или пренебрежительного оттенка. Смеховая культура, так подробно исследованная известным литературоведом М.М. Бахтиным, проявилась теперь на языковом уровне, когда понадобилось в кратчайшие сроки пройти Интернет-ликбез, тем более, что речь шла не об “обязаловке”, а о добровольном погружении в сеть, которая стала для десятков тысяч молодых людей милей родного дома. Им просто необходимо было чувствовать себя здесь комфортно, в том числе, и в используемом языке. Кстати, думается, что возрастная особенность потребителей и “жителей” Интернета, которым за редким исключением не исполнилось еще и сорока лет, тоже повлияла на смеховой характер освоения данных заимствований. Шутя, иронизируя, они становились смелее в своих виртуальных странствиях. Так появился язык “рунетовских” жаргонизмов, к которым стоит присмотреться.

Рассмотрим некоторые, наиболее часто употребляемые слова и выражения. Это прежде всего слова с отчетливо пренебрежительным оттенком: *писюк, бродилка, аська, мессага, сервак, флудить, клави, флопак, локалка, прога, искалка*. По способу словообразования их можно разделить на слова женского рода, образованные с помощью суффикса -к- по типу *Алла – Алка (бродилка, искалка, локалка, аська)* и слова мужского рода (*писюк, флопак, сервак*). Любопытна, кстати, и тенденция использовать имена собственные: *аська* (программа

ISQ) – от женского имени *Ася*, *клава* (клавиатура) – *Клава*. В других случаях остается английский вариант, происходит калькирование с одновременным добавлением словообразовательного элемента, несущего эмоционально экспрессивную нагрузку, в данном случае, пренебрежительности: *мессага* (от message), *флудить* (от flood), *сервак* (от server), *флопак* (от floppy-disk).

Кроме того, один из стратегических законов языкового развития, а именно, тенденция к сокращению, проявляется в образовании таких слов, как *клава* (от слова *клавиатура*) или *прога* (*программа*). То же стремление к краткости заставляет пользователей Интернета придумывать новые аббревиатуры (*ИМХО* – in my humble opinion).

Популярное сегодня слово *мыло* приобрело еще одно значение – электронная почта e-mail, а глагол *помылиться* поможет вам высказать желание написать электронное письмо, получить почтовый ящик в системе e-mail либо проверить в нем почту. Еще один новый глагол в русском языке – *початиться* в значении “пообщаться в чате” – вообще образован от английского слова chat, калькированного на русский язык с тем же значением.

Становится понятно, что юные словопроизводители, что называется, за словом в карман не лезут, спокойно расправляясь с чужестранными техницизмами и перестраивая их на собственный лад. Чего стоит, например, казалось бы, абсолютно однозначное слово *хомяк*? А поди ж ты, англоязычное сетевое выражение home page хотя и имеет нейтральный перевод на русский язык и даже уже записано в новейших словарях как “домашняя страничка в Интернете”, в разговорной речи трансформировалось в *хомяка* – теплую маленькую зверюшку. Интересно, что значок “ai” – @ тоже прижился в русском языке в виде еще одного значения слова *собачка*.

Итак, налицо народное смеховое осмысление того огромного потока английских техницизмов, который неизбежно входит в русскоязычную обиходную речь с развитием Интернета в России. Сетевой жаргон все более активно проникает в разговорную речь, становясь популярным и обретая устойчивость в речевой практике всех, кто использует рунет.